



# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1991

10.335/  
1991/4



5



საქართველოს  
წიგნების კავშირი



1991

# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Союза писателей Грузии

## СОДЕРЖАНИЕ

АКАКИЙ ЦЕРЕТЕЛИ — 150

АКАКИЙ ЦЕРЕТЕЛИ. Стихи. Переводы  
Наты Чхеидзе, Владимира Са-  
ришвили, Олега Боброва . . . 3

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ЛЕВАН ХАИНДРАВА. Аслан-бек. Повесть 11  
ТИНАТИН КАХНИАШВИЛИ. Стихи . . . 112  
ЛЕЙЛА МЕСХИ. Притяжение. Рассказ. Пе-  
ревод Ирины Зурабашвили . . . 115  
ВАНО ЧХИКВАДЗЕ. Птицы зимой. Роман.  
Перевод В. Федорова-Циклаури . 135

### КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

АКАКИЙ БАКРАДЗЕ. «Укрощение литера-  
туры». Окончание. Перевод Лианы Та-  
тишвили . . . . . 172

5

Издательство «Самшобло», Тбилиси  
Журнал выходит с июня 1957 года

РЕЦЕНЗИИ

МАРИЯ ФИЛИНА. Связующая нить стиха



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ТАМАЗ НАТРОШВИЛИ. «Красавица наша  
Матерь!» . . . . . 198

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ

МЕРАБ МАМАРДАШВИЛИ. Вена на заре  
XX века . . . . . 207

---

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА . . . . . 224

Акакий ЦЕРЕТЕЛИ

## Тиран ума

Пусть будет стих — не правды свет,  
А слов трескучих кутерьма,  
Иначе лиру, словно червь,  
Источит всю тиран ума.

Ты — мира зеркало, поэт.  
Отражена в нем жизнь сама,  
Но обо всем не пой, о, нет, —  
Ведь пресечет тиран ума.

Судить вельможу не берись,  
Будь он для родины — чума,  
А то оступишься, клянусь,  
Сотрет твой след тиран ума!

Нет правды в обществе людском,  
Чтоб не ждала тебя сума —  
Стань лицемером — и твой ум  
Благословит тиран ума!

\* \* \*

О, родина несчастная, растишь ты поколение, —  
Чужое не освоив, свое предаст забвению.  
Окончивши гимназию, юнцы впадают в раж,  
Пешком не ступят шагу — подай им экипаж!  
У одного за ухом торчит конец пера,  
Другой живет остатками отцовского добра,  
А кто, прельстившись шпорами, стремится в драгуны,  
Кто — только полицейские преследует чины,  
А сколько — зашибают неправдою деньги,  
Тесня своих же братьев — не приведи врагу.  
Позоря перед обществом достоинство свое  
И счастьем почитая такое бытие.



Твое искусство — в звоне лиры,  
 А дух питает — вдохновение,  
 И ни к чему в подлунном мире  
 Твои заботы и суждения.  
 Твой звонкий голос раздаётся,  
 Как песня жаворонка в небе,  
 А здесь, внизу, и нас хватает,  
 Чтоб о насущном печься хлебе.  
 Оставь то дело нам. Мы знаем  
 Родной страны нужду и беды,  
 А ты иди и с ясным солнцем,  
 С луной и звездами беседуй.  
 Так Хохоника и Тэтия  
 Певцу советы подавали,  
 Но ведь один — глупец на диво,  
 Да и другой ушел не дале.

Перевод Наты ЧХЕИДЗЕ

## Нинаоба<sup>1</sup>

Плачь, о земля грузинская,  
 В колокол, небо, бей — звени,  
 Гнев твой вселенский множится,  
 Горя и скорби настали дни.

Речи родной лишили нас,  
 Злой покарала карою.  
 Были «Нино», «Тамар», теперь —  
 «Ниной» зовут, «Тамарою»...

Где прах Тамар покоится?  
 Слава в веках ей воздана.  
 Или Нино могила где,  
 Равной святым апостолам?

<sup>1</sup> Нинаоба (груз.) — день святой Нино, просветительницы Грузии.

Прядью святою связанный  
Где крест лозовый, близко ли?  
Как невесел, задумчив как  
Глас тропаря грузинского.



Сколько народ наш выстрадал,  
Кровь за Христа мы пролили,  
Но «грузин» не начертаю  
На скрижалях истории.

Плакать? Над гордым рыцарем  
Слезы не смеют властвовать.  
«Лучше героем жизнь отдать,  
Чем, опозорясь, рабствовать»<sup>2</sup>.

## Ваши беды—на меня<sup>3</sup>

Счастлив я — дождался все же,  
Старец, радостного дня.  
Молодые, вам — дорога,  
Ваши беды — на меня.

Я искал пути для слова,  
Долю горькую кляня,  
Вам же все пути открыты,  
Ваши беды — на меня.

«Семь раз смерить, раз — отрезать,  
Хладнокровие храня»,  
Помните — и будьте храбры,  
Ваши беды — на меня!

Горький корень не нашел я,  
Поле жизни бороня,  
Ваш черед теперь, дерзайте,  
Ваши беды — на меня.

---

<sup>2</sup> Цитата из поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

<sup>3</sup> Дословный перевод грузинской идиомы «Тквэни чириме».

На пороге смерти, брошен,  
Всех прощая — не виня,  
Я на вас одних надеюсь,  
Ваши беды — на меня.



В добрый путь! Не подведите!  
Свет грядущего, маня,  
Вас уводит... Счастье с вами,  
Ваши беды — на меня.

## Любимой

Я твой раб. Для тебя я дышу,  
И ласкаю тебя, и лелею,  
Бьется сердце мое для тебя  
Учащенней, нежней и сильнее.

Я в тюрьме под замками семью  
Исстрадался, от солнца отрезан,  
Потому что тебя обольстить  
Возжелал недостойный повеса.

В яствах он растворяет соблазн  
И дурманы — в вине темно-красном,  
И не матери — мачехи глас  
Слышен в лире обманно-прекрасной.

Ворожке ее струн не внимай  
И не верь колыбельной манящей,  
Завлекла она много сердец,  
Напевая все слаще и слаще.

Пусть Нестан-Дареджан красота  
И ее неизбывная воля  
Вдохновит в испытанье тебя,  
Облегчит незавидную долю.

Знай, отправился в путь Тариэл,  
Он отыщет тебя, одолеет  
Все преграды. Придон, Автандил  
На подмогу ему подоспеют.

Слезы с кровью — вот жертва любви,  
Рыцарь перед тобою прольет их,  
Чтоб надеждой живых одарить,  
Чтобы души порадовать мертвых.



Перевод Владимира САРИШВИЛИ

ДВА НОВЫХ ПЕРЕВОДА

## Сулико

Скорбную обитель любви  
Не обрел, утратив покой.  
Плачь, душа, страдай и зови:  
«Где же, где же ты, Сулико?»

Отыскал я розу в кустах  
И пленился алым цветком.  
В сердце заблудившемся страх:  
«Может, ты моя Сулико?»

Встрепенулся хрупкий бутон  
И склонился в горе без сил.  
Словно жарким жемчугом, он  
Зелень трав слезой оросил.

Песню соловей обронил,  
Спрятался в ветвях высоко.  
Птаху, замирая, спросил:  
«Может, ты моя Сулико?»

Сердце соловью я открыл,  
Свой восторг ничуть не тая.  
Он в ответ мне, нежен и мил,  
Словно произнес: «Это я».

Звездный луч чудесен и скор.  
Я, волшебным светом влеком,  
Обращаю к небу свой взор:  
«Может, ты моя Сулико?»





Ярче солнца горит звезда,  
Из лучей сплетает венок.  
Я не знаю, как быть, и тогда  
Мне шепнул молодой ветерок:

«Слава Богу, окончен путь,  
Позабудется время утрат.  
Будь покоен, благостен будь,  
В сладком сне пребывай до утра.

На три распалось целое:  
Нежной розой, птицей, звездой  
Радость, любовь твоя первая  
Снова пребудет с тобой».

Счастлив я, уже не ищу  
Склеп могильный в чужой тиши.  
Я не плачу и не ропщу,  
Не терзаю своей души.

Мне ценнее других наград  
Соловьиная трель в ночи,  
Розы сладостный аромат  
И далекой звезды лучи.

В мир распахнуты двери вновь.  
Жизнь течет свободно, легко.  
Знаю я, где живет любовь,  
Где обитель твоя, Сулико.

Перевод Олега БОБРОВА

## Сулико

Где нашла последний приют  
Та, что любовью была?  
Сулико моя, отзовись,  
В сердце скорбном — черная мгла.

Роза средь шипов лепестки  
Сиротливые подняла...  
Ах, не ты ль, цветок, Сулико, —  
Та, что мне любовью была?



И, кивнув головкой, бутон,  
Что дышал небес бирюзой,  
За слезой роняя слезу,  
Зарыдал жемчужной росой...

Соловей тайлся в листве,  
Снова в сердце скорбь ожила...  
Я спросил: «Не ты ль Сулико —  
Та, что мне любовью была?»

И, расправив крылья, певец  
Зачирикал, защебетал,  
И, коснувшись клювом цветка,  
На согласие он намекал.

В небесах сияла звезда,  
Взор лучом своим привлекла,  
Может, это свет Сулико —  
Той, что мне любовью была?

И в снопах сапфирных лучей  
Я ответ ее угадал,  
Нежный пробежал ветерок  
И на ухо мне прошептал:

«Ты обрел, теперь не ищи —  
Отдохни от мук и от бед,  
Спи отныне сладко, но днем —  
Ночью же приветствуй рассвет...

Знай, теперь ее имена —  
Соловей, звезда и цветок.  
Вашу неземную любовь  
Погасить бессилен злой рок».

Жалоб мир не слышит моих,  
Слез горючих больше не лью,  
Не брожу теперь по полям,  
Не ищу могилу твою...

Ясный свет далекой звезды,  
Запах розы, трель соловья  
Селят в душу радость, и слов  
Не найду, не выскажу я...



Вновь распахнут мир для меня,  
И печаль с души отлегла,  
Знаю — где последний приют  
Той, что мне любовью была.

Перевод Владимира САРИШВИЛИ



# Аслан-бек

## ПОВЕСТЬ

Моим кунакам — ингушам и чеченцам, с которыми я делил горький хлеб Сибири.

Когда-то, очень давно, почти треть века тому назад я услышал это имя от одного молодого чеченца, с которым лихая судьба свела меня в ростовской пересылке с тем, чтоб часа через два развести навсегда в разные стороны. Мы, помню, сразу почувствовали друг к другу ту безотчетную, неодолимую симпатию, которая рождается в подобных обстоятельствах из неизвестно откуда возникающего, но почти никогда не обманывающего доверия.

— Вы слышали об Аслан-беке? — спросил он и когда я ответил отрицательно, начал рассказывать, но досказать до конца не успел.

Шли годы, менялась судьба моя и, надеюсь, его тоже, — и я постепенно забыл и это имя и того, кто его впервые для меня произнес. Но воистину неисповедимы пути Господни, непредсказуемы маршруты наших расставаний и встреч. Год назад в совсем другой обстановке, совсем другой человек — и по обстоятельствам своей жизни, и по взглядам на свое в ней предназначение, и по воспитанию, и по характеру — неожиданно назвал мне то же имя.

Поразительнее всего, что два человека с огромным перерывом во времени и столь полярные друг другу говорили в почти одинаковом тоне, свидетельствовавшем, что имя это внушает им примерно одинаковые чувства.

И тогда я заболел этой историей. Целый год я носил ее в себе, домысливал и дорисовывал в своем во-

ображении образ человека, которого никогда не видел и которого давно уже нет в живых. Но в какой-то момент я понял, что мне не хватает личных впечатлений и что без них рассказ мой рискует оказаться лишенным необходимой достоверности, что было бы непростительно. И я решил побывать в тех местах, где протекала жизнь Аслан-бека и развертывались события, участником которых он был.

Мне повезло...

Аул Старые Атаги расположен верстах в сорока от Грозного на равнине. Это очень большое село, в нем не меньше тысячи дворов. С юга и востока к нему вплотную подступают горы — пологие, лесистые. Но за ними другие, более высокие, а за теми уже вздымаются отливающие серебром и перламутром вершины Большого Кавказа, могучими плечами своими подпирающие небесный свод, который в этих местах в погожие дни столь синь, высок и прозрачен, что кажется, взглядишь пристальнее, и увидишь самого Бога.

День не спеша клонится к вечеру, длиннее становятся тени стройных тополей, лежащие на земле, словно брошенные мечи, потянуло откуда-то не прохладой еще, но воздухом более мягким, слегка освежающим. Напряжение полуденной жары слабеет. По аулу в разных местах кричат петухи. С дерева, в тени которого мы сидим, щелкает и щелкает какая-то птичка. Мне хочется верить, что это соловей, но я понимаю несбыточность такой надежды и спрашиваю своего собеседника. Он называет птицу по-чеченски, как будет по-русски, не знает. Чтоб не ставить его в затруднение я понимающе киваю.

Мы снова молчим. Где-то за изгородью тонкий голос невидимой женщины, вероятно, молодой, судя по свежести и звонкости, тянет заунывно и жалобно:

...Ай, Аслан-бек, Аслан-бек...

Только это я и понимаю в песне. Остальные слова незнакомого языка сливаются для меня в один сплошной, гортанный, горестный звук. Но я знаю, о чем поется в песне, — слова ее мне перевел мой собеседник — пожилой чеченец, бывший учитель, человек немногословный, сдержанный, с трудом разговорившийся и то

лишь после того, как убедился, что я не держу камня за пазухой.

Вот так из трех рассказов трех разных людей, в разных местах и в разное время, а также из настроения, навеянного песней незнакомой женщины, и сложилась во мне та история, которую я собираюсь здесь рассказать.

## Глава I

Уже за Харьковом с полей неожиданно исчез снег и открылась черная, влажная, богатая весенними соками земля, вождеденно подставлявшая свою могучую плоть набирающим силу, но неуверенным еще лучам апрельского солнца.

В Ростове стояли долго, припекало уже совсем по-южному, пригожие, пышнотелые казачки прямо с передвижных жаровень продавали шашлыки на гладко оструганных палочках. С хрустящих, аппетитно пахнущих дымом кусочков коричневого мяса капал жир, слегка обжигая пальцы, но и это было приятно. А когда поезд, громыхая и гудя железом и простором, пересек Дон и, будто норовистый конь, почувствовавший, что поводья ослабли, круто взял с места и, набрав скорость, ринулся прямо на юг, а слева, в заливных лугах зеленым бархатом поманила нежная травка, Аслан-бек почувствовал, как теплая волна захолонула все его существо. Близко, уже совсем близко! Еще день, и он дома.

Впервые он возвращался в родные места после столь долгой отлучки. В этих степных раздольях, которые пересекал сейчас поезд, ему приходилось бывать в ранней юности, когда отец брал его и братьев, отправляясь торговать лошадой у калмыков, а потом они вчетвером гнали купленный табун напрямик, через Ногайские степи к себе в Нижнюю Чечню. Никто не умел так выбирать жеребцов-производителей, как старый Мамед-бек Нагиев, и только ему поручали руководители племенного конезавода это важное и ответственное дело...

И приплод от скрещивания калмыцкой с кабардинской и дагестанскими породами получался отличный, сочетая степную выносливость и неприхотливость с бесстрашием, ловкостью и высокими ездовыми качества-

ми кавказских горных лошадей. Это племя так и называли: Нагиевская порода, чем Мамед-бек втайне гордился.

Звание беков было пожаловано роду Нагиевых еще ханом Гамзатом, вторым имамом Дагестана и Чечни, под знаменем которого наибом служил дед Мамед-бека — Аслан. В его честь и назвал Мамед-бек своего старшего сына.

А отец Мамед-бека — Ибрагим, следуя по стопам своего отца, взялся за оружие, когда имам Шамиль объявил газават. Острым, опытным взглядом полководца и политика великий имам скоро различил в толпе беззаветно преданных, неустрашимых мюридов молодого Ибрагима Нагиева.

Не склонный доверять людям, а после измены Хаджи-Мурада и его бесславной смерти ставший особенно подозрительным, Шамиль, однако, безгранично верил Ибрагиму Нагиеву, приблизил к себе и сделал начальником личной охраны. И быть бы Ибрагим-бек Нагиеву тоже наибом, несмотря на молодой возраст, если бы историческая Немезида не решила судьбу неравной борьбы горцев с северным колоссом. Последний оплот Шамиля аул Гуниб пал 26 августа 1859 года и повелитель Дагестана и Чечни оказался пленником русских. Вместе с ним был захвачен и его верный мюрид Ибрагим-бек, сражавшийся до последней возможности.

Шамиль не ошибся в нем. Израненный в роковом бою, но обласканный русским командующим князем Барятинским, Ибрагим-бек отказался присягнуть русскому царю и потому не был оставлен на родине. Ибрагим-бек просил победителей лишь об одной милости: чтоб ему позволили разделить участь того, кому он верно служил все те годы, что шла священная война. Эта милость была ему оказана и мюрид Ибрагим-бек десять долгих лет провел в томительной калужской ссылке, деля с имамом все тяготы неволи, разлуки с родиной и сурового климата.

Они расстались, лишь когда русское правительство, предвидя скорую смерть Шамиля, разрешило ему совершить паломничество к святым местам в Мекку и Медину. И туда бы последовал за своим имамом Ибрагим-бек, но Шамиль сам отпустил его.

— Возвращайся в Чечню. Там нужны такие люди,

— сказал на прощание старый имам и возложил сухую руку, уже много лет не державшую оружия, на склоненную перед ним голову верного мюрида.

Ибрагим-бек прожил восемьдесят пять лет, и мальчишкой Аслан не раз слышал от него о последнем газавате, об имаме Шамиле и подвигах его воинов. Дед Ибрагим, в отличие от многих бывалых стариков, никогда не приукрашивал свои воспоминания цветистыми домыслами, не возносил чрезмерно своих героев и не чернил врагов. Это не значит, что он забыл или простил русским порабощение своей родины, о нет! Но он слишком долго жил, слишком много испытал и понял, чтоб рисовать противника одной черной краской.

Живя в Калуге и по необходимости научившись довольно хорошо говорить по-русски, он увидел, что народ этот состоит отнюдь не только из жестоких и коварных завоевателей, исповедующих к тому же чужую веру и не приемлющих учение пророка Мухаммеда, но что люди эти у себя дома бедны, хотя и трудолюбивы, верны своему пророку, покорны своему царю, сострадательны к чужому горю, терпимы и не склонны к высокомерию и мелочной мстительности по отношению к побежденным. Его коробила распущенность их женщин и всеобщая склонность к пьянству, но чего можно ждать от неверных? В целом же люди это были как люди, только неизвестно почему вбившие себе в голову, что имеют право навязывать всем свои порядки и обычаи, которые, как Ибрагим-бек лично убедился, были никак не лучше тех, коими испокон веку руководствовался и жил его собственный народ.

Не мог Ибрагим-бек признать законной и власть их царя, пребывавшего где-то на краю земли и, тем не менее, претендовавшего на право распоряжаться судьбой чеченского народа. Никакого права на самом деле у него не было, кроме права силы. И силе этой приходилось пока подчиняться и ждать удобного момента. А что момент этот рано или поздно наступит, ни имам Шамиль, ни старейшины, ни Ибрагим-бек не сомневались.

В этом духе отзывался о русских и рассказывал об их жизни и обычаях дед Ибрагим своему старшему внуку Аслану, в котором видел заинтересованного и восприимчивого слушателя. Двое других внуков были слишком малы.



И об имаме Шамиле рассказывал дед Ибрагим трезво, с умеренностью, которая поначалу вызывала разочарование в сердце мальчика, жаждавшего услышать о фантастических подвигах, феноменальной силе и ловкости легендарного героя. Зато по мере того, как Аслан становился старше, из мальчика превращаясь в мужа, он по-новому осмысливал слышанное от покойного деда и проникался доверием к его историям. Имам Шамиль в рассказах деда представлял хотя и храбрым, но осмотрительным воином, хотя и проницательным, но кое в чем ограниченным политиком, хотя и благородным, но порой жестоким, излишне подозрительным человеком.

И такая трезвая оценка, продолжавшая немного коробить Аслана, делала, однако, образ Шамиля более живым и близким, подлинность его сомнений не вызывала. Он представлял человеком, а не мифом. Что же до легенды о великом имаме, то она отнюдь не умалялась. Разве не легендарной была его четвертьвековая борьба со стократ превосходящим противником?

И вот тот момент, о котором думал поверженный властитель Чечни и Дагестана, настал: в 1917 году шатался и рухнул престол русских царей. В России произошла революция. Как и ожидали старики, немедленно отложилось Закавказье. Но это значило еще не так много — оба возродившихся государства, Грузия и Армения, были христианскими, а вот то, что в восточном Закавказье, непосредственно гранича с юга с Дагестаном, возник мусульманский Азербайджан, имело первостепенное значение. Все народы Северного Кавказа встrepенулись. Ожили их надежды вновь обрести независимость.

А в России смута продолжалась. К власти в Петрограде, а потом в Москве пришли большевики. О них говорили разное. Рассказывали, что они враждуют с Богом, благо бы со своим, христианским, а то и против Аллаха восстают, женщин делают общим достоянием, расстреливают всех, кто с ними не согласен, отбирают добро у зажиточных людей.

Все это выглядело чудовищно, и отец Аслана — Мамед-бек насторожился. Встревожились и другие пожилые, умудренные жизнью люди.

Но вместе с тем доходили слухи, что большевики

сулят беднякам землю и равенство, признают за всеми народами право самим определять свою судьбу, вплоть до полного отделения от России. В горах появились эмиссары большевиков: Бутырин, Киров, Буачидзе, Гегечкори. Правда, все это были пришельцы, но вскоре и среди представителей местных народов объявились большевики. Одним из них был лезгин Сеид Хабиев, сын кунака и даже дальнего родственника семьи Нагиевых. Сеид, имевший у большевиков большой вес, не раз появлялся в Старых Атагах, прибегая к гостеприимству Мамед-бека. Он вел с хозяином дома долгие беседы, разъяснял ему политику своей партии и доказывал, что лишь большевики несут горцам подлинное освобождение и осуществление давних чаяний.

Мамед-бек колебался. Много в посулах большевистских агитаторов выглядело привлекательным, но многое было и неприемлемо, особенно их безбожие. Правда, ни в Чечне, ни в Дагестане они мечетей не разоряли, мулл не трогали, и все же не лежала к ним душа. Единственное, что делал Мамед-бек Нагиев для большевиков, так это давал приют их эмиссарам, да и как было не давать, когда все они, даром что неверные, были кунаками Сеида Хабиева, на которого Мамед-бек смотрел как на племянника.

Кончилась гражданская война, по всей России утвердилась советская власть, и не сразу, но очень скоро Мамед-бек понял: это совсем не то, что нужно его народу. Стало еще хуже, чем при царе: лошадей и скот отбирали, зерно реквизировали, людей, которые противились расхищению своего добра, или тут же расстреливали или увозили куда-то, откуда возврата не было. Добралась и до мулл, стали закрывать мечети. Народ зашевелился, кое-кто взялся за оружие, да не тут то было! Времена Шамиля миновали: всю горную страну словно сетью опутали военные посты, отделения ГПУ, партийные ячейки, где сидели свои отщепенцы, знавшие наперечет всех в каждом ауле, понимавшие, кто кем дышит, и моментально указывавшие русским, кого брать в первую очередь, а с кем можно повременить.

В 1924 году опять ожили надежды, свежим ветром подуло с юга: восстала Грузия и в два-три дня вся сельская местность Имеретии, Мегрелии, Гурии была

освобождена. Безбожная власть удерживалась только в крупных городах, но и там висела на волоске.

Внимательно следили старики за тем, что делается по другую сторону хребта, чутко ловили каждую обнадеживающую весть. Не пришло ли время поддержать грузин?

\* \* \*

Но вскоре все изменилось. Большевики перебросили в Грузию крупные подкрепления, артиллерию, и восстание было разгромлено. Снова число возобладало над доблестью. Серго Орджоникидзе залил кровью своих сородичей землю, которая когда-то вскормила и вспоила его самого. Нет у народа врага более страшного, чем предатель.

Опять затаился Кавказ, и Мамед-бек понял, сколь мудры были старики, когда постановили: не спешить, выждать.

А дальше жизнь вошла в колею, которую по привычке связывать эти два слова я чуть не назвал «нормальной», да вовремя удержал перо. Потому что как же считать нормальной жизнь под непрерывным страхом, что ночью постучат в дверь и заберут человека туда, откуда не возвращаются, когда самое необходимое надо не покупать, а доставать, когда за спичками и солью надо ездить в Грозный или Владикавказ, да и там они не всегда есть, когда началось бесконечное, противоестественное стояние в очередях, когда конники оставались без коней, овцеводы без овец, хлебопашцы без хлеба?

Но и к такой жизни начали приспособливаться люди и в ней находить какой-то интерес и радость.

У Мамед-бека подрастали трое сыновей, все один к одному: крепкие, красивые, рослые мальчишки. Такова была Нагиевская порода: что люди, что лошади — глаз радовался. Особенно хорош был старший — Аслан, ко-

торый из семейной сокровищницы взял все самое лучшее: силу, ловкость, отвагу.

Мамед-бека благополучно миновала беда, постигшая, увы, слишком многих, и он постепенно приспособивался к той жизни, на которую был обречен его народ. Он работал на племенном конезаводе, как уже было сказано, добился немалых успехов и жил неплохо. Он был нужен и его не трогали. К тому же помнили, что в свое время у него укрывались местные большевики, и потому считали, что он один из тех, на кого в случае чего можно положиться. А Мамед-бек, хотя и знал цену хозяевам, понимал, что уцелеть можно, лишь если будешь молчать и терпеть. В партию он не вступал, от веры не отказывался, но держался вполне лояльно и работал добросовестно. Это уж было в его характере: то, что делаешь, делать наилучшим образом. Все равно один буйвол в две разные стороны арбу тянуть не может.

Старшего сына — своего любимца Аслана — он своевременно отправил в Грозный учиться. Он хотел, чтобы дети его выросли образованными людьми. Мамед-бек был умен и отдавал себе отчет в том, что время, когда можно было жить по шариату и довольствоваться знанием Корана безвозвратно миновало. Наступили новые времена и, чтоб не плестись в хвосте у жизни, надо твердо усвоить ее новые правила, соглашая их, конечно, насколько это возможно, с традициями и обычаями предков. Мамед-беку самому неясно было, как этого добиться, но следовало искать пути — иного выхода не видно.

Поэтому он не возражал, когда Аслан вступил в комсомол, стал заниматься борьбой в спортивной секции, завел себе приятелей среди русских, читал русские книги. Порой, глядя на его могучую фигуру, на его мужественное лицо с четкими, словно из гранита выточенными чертами, Мамед-бек с сожалением думал, что Аслану надо было родиться лет на сто раньше — не было бы ему равных среди горских удальцов! Совершили бы набег на Кахетию, захватили бы знатную красавицу, взял бы ее Аслан себе в жены и она нарожала бы ему детей, в жилах которых текла бы благородная княжеская кровь. И, думая об этом, Мамед-бек испытывал странное чувство как бы вины перед сыном, буд-

то от него зависело, когда Аслану родиться — в нынешнем веке или в минувшем.

Но сын ни о чем подобном не думал. Он учился, потом работал, ходил в кино, с увлечением занимался борьбой, успешно выступая на соревнованиях, и был вполне доволен той жизнью, которой жил, тем более, что другой не знал. Все вокруг него жили так же, и она казалась ему нормой.

Дома, правда, когда у отца собирались старики, Аслан слышал, что прежде жилось по-иному, но разговоры эти не затрагивали глубоко, соскальзывая с его сознания, как дождевая капля со стекла. Молодости трудно соотнести свой оптимизм с опытом и всезнанием старости. В этом ее прелесть, в этом же и опасность.

Аслану было уже больше двадцати, когда объявили набор в училище красных командиров. Пошла такая линия — привлечь к кадровой службе в Красной Армии нацменов.

Хотя до того (разве что в детстве) Аслан не думал о военной карьере, он записался одним из первых, получив, разумеется, сперва разрешение отца, — слишком уж сильно звучала в нем врожденная любовь к оружию, склонность к риску, таившаяся где-то в глубине и до поры неведомая ему самому мечта о подвигах, о воинской славе.

Вот так и получилось, что в 1936 году Аслан Нагиев молодым командиром был выпущен из училища и получил назначение в стрелковый полк, расквартированный в Белоруссии.

В следующем году началась великая чистка в рядах Красной Армии. Врагами народа оказались знаменитые военачальники — герои гражданской войны и борьбы против интервентов. Это было удивительно, многое вызывало сомнения, но Аслан Нагиев, которому не с кем было обсудить происходящее потому, что сородичей в полку не было, а другим он не доверял, решил, что слишком мало знает русских, чтоб судить, что у них нормально, а что нет. Впрочем, изменники бывали всегда и у всех народов: перекинулся же к русским в свое время Хаджи-Мурад, предал газават.

Но когда неожиданно исчез его собственный командир, Аслан Нагиев тяжело задумался. Комполка Ситни-

кова Аслан глубоко уважал, видя в нем храброго, делового и справедливого начальника, в честности которого не сомневался. Он видел, что и его товарищи-однополчане потрясены и ввергнуты в смятение, но боятся говорить вслух. Боялся и Аслан, и потом не мог себе этого страха простить. С болью и стыдом вспоминал он открытое партийное собрание в их полку, на котором выступал политкомиссар — всеми нелюбимый, недобрый и мало сведущий в военном деле человек, обливавший грязью того, с кем бок о бок прослужил в этом полку несколько лет. И хотя, как беспартийный да к тому же не слишком хорошо говорящий по-русски, Аслан не привык выступать на подобных собраниях, он долго корил себя за то, что у него не нашлось мужества встать и во всеуслышание заявить: он, Аслан Нагиев, не верит, что комполка Ситников изменник. Должно быть, вышла какая-то ошибка, в которой необходимо тщательно разобраться. И стыдясь своего малодушия, Аслан черпал горькое утешение в том, что на лицах многих своих товарищей-командиров, как раз тех, кто внушал ему уважение и доверие, он читал те же чувства. Но были и другие. Их было даже больше. Эти верили всему, что им говорили, и готовы были сегодня оплевать того, перед кем вчера еще тянулись и по чьему приказу готовы были идти на смерть. Вот эти-то были страшнее всего, страшнее политкомиссара, страшнее наезжавших иногда из штаба дивизии чинов Особого Отдела.

Кстати, сам политкомиссар полка вскоре тоже сгинул, и хотя по поводу его исчезновения собрания не созывали, всем было ясно, что и он там же, куда отправлял других. И это вызывало странную, смущающую радость. Ведь Аслан понимал, что злорадство — мелкое чувство, недостойное мужчины, недостойное памяти загубленного комполка Ситникова, но ничего не мог с собой поделать, да и не очень старался. И опять, по выражению лиц некоторых более близких ему по духу товарищей он видел, что и они довольны. Что касается других, тех, кто всему верили и ни в чем не сомневались, то они и сейчас поверили без колебаний, без сомнений. Все-таки надо отдать справедливость тому, кто затеял этот опустошительный смерч: он хорошо знал психологию людей, над которыми владычествовал.

Потом сгинул и руководитель НКВД, и наступила передышка. Ежовщина кончилась. Хотя об этом и не писали, было известно, что самого Ежова постигла та же участь, на которую он и его подручные обрекли миллионы невинных.

Аслан Нагиев продолжал служить в том же полку. Постепенно зарубцевалась первая рана. Молодость эгоистична, она помнит только свои горести и радости, и память о комполке Ситникове затянуло пеленой забвения и новых жизненных обстоятельств, которые Аслану благоприятствовали. Он получил в командование роту и, кроме того, завоевал звание чемпиона Вооруженных Сил по борьбе в полутяжелом весе. Ему присвоили звание мастера спорта. Жизнь складывалась удачно.

Но на западе сгущались зловещие тучи, полыхали зарницы приближающейся войны. Это сознавали все, и Аслан Нагиев не жалел сил и времени, чтоб сделать свою роту образцовой.

Все готовились к борьбе с фашизмом. Газеты писали о массовых арестах в Германии, о концлагерях, о разгроме рабочих союзов, о подавлении любой свободной мысли и вольного слова, и никому не приходило в голову задать простейший, очевиднейший вопрос: а у нас? А если кому и приходило, тот гнал его прочь, потому что в таком случае и себя пришлось бы признать соучастником творимого, и на себя излить презрение, которого достоин малодушный и попустительствующий. И все делали вид, будто верят, а порой и действительно верили, что происходящее служит на пользу стране, укрепляет ее мощь как внешнюю, так и внутреннюю, ведет к созданию процветающего, мирного и счастливого общества, как будто можно быть счастливым, зная, что твое счастье оплачено горем, кровью и жизнями миллионов других людей.

Тьмы горьких истин нам дороже  
Нас возвышающий обман.

И вдруг словно дождь пролился из безоблачного неба, словно реки потекли вспять, словно мать перестала любить свое дитя, а дети перестали почитать родителей. Было объявлено, что с Германией заключен

пакт о ненападении и договор об экономическом сотрудничестве.

В воинских частях выступали политработники всех рангов и разъясняли, что западные буржуазные демократии — имелись в виду Англия и Франция — умышленно затягивали переговоры, присылали второстепенных деятелей, не имевших полномочий принимать важные решения, что они своим трусливым попустительством привели к гибели Чехословакию и все последние годы подталкивали Гитлера на войну с Советским Союзом. Не вышло. Советское правительство разгадало коварные планы западных капиталистов и приняло ответные меры, заключив с Германией, с которой у нас нет неразрешимых противоречий, пакт о ненападении.

— Но как же германские коммунисты, германский рабочий класс? Неужели мы бросим их на произвол судьбы? — не выдержал и с места прервал докладчика только что прибывший в полк из военного училища юный Саша Черняев, которому благоволил Аслан за искренность, честность и особенно за то, что он напоминал ему младшего брата Юсупа, тоже такого чистого и наивного юношу.

— Политика нашего правительства основывается на принципе невмешательства в дела других государств, — значительным тоном ответил докладчик и сурово посмотрел на Черняева. — Вам, лейтенант, комсомольскому активисту, следовало бы это знать и не задавать безответственных вопросов.

Аслан слушал то, что говорилось, испытывая сложные и путаные чувства. Бесспорно было, что Англия и Франция действительно саботировали переговоры, что своим предательством Чехословакии в Мюнхене они прямо указали Гитлеру путь на восток. И, учитывая эти очевидные факты, договор с Германией выглядел не только оправданным, но и мудрым шагом. И все же, и все же... Выходит, мы теперь стали союзниками фашистов, гитлеровцев? С этим было трудно не то что примириться, осознать это было на первых порах невозможно. Встречаясь взглядами с другими командирами, Аслан Нагиев читал в их глазах такое же смущение и растерянность. Не вязались слова докладчика об отсутствии непримиримых противоречий с гитлеровской Германией, с тем, что тысячу раз говорилось раньше. А уж



реплика, обращенная к Саше Черняеву, и вовсе вызывала сомнение. «Невмешательство в дела других государств...» А как хотя бы с той же Грузией, куда в 1921 году вторглась Красная Армия? Ведь было официально объявлено, что 11-я армия идет на помощь восставшим грузинским рабочим и беднейшим крестьянам. Разве это не было внутренним делом Грузинской республики, у которой были дипломатические отношения с Советской Россией? Ведь в Тбилиси сидел советский посол — Киров. Да и восстания-то не было никакого. Это и сразу все в Чечне знали, а потом, когда уже слетел со всех своих постов, признавал и Сеид Хабиев, сам в те годы находившийся в Грузии. Аслан хорошо помнил, как Сеид, почему-то обернувшись на дверь, сказал, понизив голос, Мамед-беку: «Да не было там никакого восстания. Нас все ненавидели».

Война началась через неделю. Германские войска вторглись в Польшу. Фронт был прорван в нескольких местах и танковые колонны вермахта устремились к Варшаве. Столь пестовавшаяся высшим командованием польской армии кавалерия оказалась совершенно бессильной против бронированных, подвижных войск, снабженных самым современным стрелковым оружием.

Все, что она могла сделать, это свершить сознательное самоубийство, бросившись под Варшавой в конном строю на танки противника. Все считали, что это был бессмысленный акт отчаяния, но сердце Аслана Нагиева не принимало такой изменной логики разума. Сердце — лучший советник человека в вопросах чести и долга — говорило ему, что никакой подвиг во имя своей нации не может быть бессмысленным, потому что он роняет в народную почву семена, которые когда-нибудь да взойдут пышными всходами. Ибо уважающий себя народ не забывает своих героев. И только у такого народа есть будущее.

Еще через несколько дней полк, в котором служил Аслан Нагиев, передвинули ближе к границе и выдали полный боекомплект. По воинским частям шли закрытые партийные собрания. Становилось ясно: что-то готовится.

Четырнадцатого сентября из штаба округа был получен приказ привести части в состояние повышенной готовности. Сомнений больше не оставалось. Предстоя-

ли боевые операции, но против кого? Немцы сюда еще не дошли: под Варшавой поляки продолжали оказывать безнадежное, но ожесточенное сопротивление. Польских войск тоже видно не было, только слабые пограничные части.

Ночью шестнадцатого сентября полк подняли по тревоге и построили поротно. Командиры прочли приказ о выступлении против белополяков, для освобождения братьев, западных белорусов и западных украинцев, от гнета польских панов.

Зачитывая приказ, Аслан споткнулся на выражении «белополяки». Что оно означает? Разве есть черно-поляки, желто-поляки, сине-поляки, зелено-поляки, против которых мы не выступаем, а собираемся действовать только против белополяков? Что за ерунда?

Но раздумывать времени не было: на рассвете полк перешел границу и двинулся в глубь польской территории.

Не такой представлял себе войну Аслан Нагиев... Не встречая сопротивления, полк еще до полудня продвинулся на пятнадцать — восемнадцать километров, пройдя по пути две деревни, жители которых не то белорусы, не то все же поляки, с настороженным любопытством и не без опаски взирали на марширующие походным строем колонны. Бабы и дети в большинстве были босые, как и по нашу сторону границы, мужики — усатые, с льняными волосами, в посконных рубахах на выпуск поверх мешковатых штанов и в лаптях, прикрепленных к ногам лыком.

Все они на вопросы отвечали угодливо и непонятно, тыкали в сторону запада и часто повторяли: «Жолнежев нема!»\* Это указывало на то, что они опасаются, как бы здесь не поднялась заваруха и не получилось по старой поговорке: «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат».

К вечеру дошли до сравнительно крупного села, нечто вроде районного центра, здесь называвшегося местечком. На площади перед кирпичным костелом полк поджидала местная верхушка: председатель волостной управы, ксендз и врач.

---

\* Солдат нет! (польск.).

В разговор вступил последний, довольно сносно говоривший по-русски и принявший на себя обязанности переводчика. Пожилой, полный, с усами и бородкой клинышком, в темной пиджачной паре и сорочке с твердым воротником, при черном галстуке, он казался сошедшим с фотографии провинциальным интеллигентом начала века, вроде тех революционных деятелей, чьи портреты висели в зале грозненской школы, которую окончил Аслан Нагиев. При разговоре доктор все время поддакивал, улыбался и вообще старался быть приятным во всех отношениях.

Председатель волостной управы, высокий худой старик с седыми отвислыми усами в стиле Пилсудского и крупным орлиным носом, одетый примерно так же, но, пожалуй, более современно, был немногословен, весьма сдержан и деловит. Он осведомился, какие будут указания от пана поручика и, узнав, что рота расположится на ночевку здесь, сказал, что сделает соответствующие распоряжения. Чувствовалось, что несмотря на свое двусмысленное положение, он все же стремится показать, что хозяин здесь он. Пан как бы говорил: «Вы хотя и непрошеные, но гости, и я считаю своим долгом устроить вас наилучшим возможным образом».

Но в это время вмешался шедший с ротой Аслана политрук Гончаренко:

— Да, и пусть спустит панский флаг. — Он снизу вверх заглядывал в лицо старому поляку своими острыми глазками с весело-злыми огоньками. При этом он потрянул головой, а потом ткнул пальцем в сторону управы — одноэтажного опрятного дома с мезонином, над которым развевался бело-красный флаг Польши. — Кончилась ваша власть, понял?

Ни один мускул не дрогнул на лице старого поляка. Он лишь бегло, как бы ища подтверждения, взглянул на Аслана, который никак не отреагировал на слова политрука. Тогда поляк слегка наклонил голову и односложно произнес:

— Так\*.

А ксендз, еще не старый человек, некрасивый, рыжеватый и голубоглазый, не принимавший до сих пор

---

\* Да. (польск.).

участия в разговоре, сложил молитвенно руки на груди и, заведя глаза к небу, пробормотал вполголоса:

— Матка Бозка! Вшистке пшипаadlo...\*

Рота выставила сторожевое охранение и разбрелась по хатам. Вскоре село затихло.

Выступление было назначено на семь утра, но Аслан встал за час до этого. Надо было проследить, чтоб солдаты получили горячую пищу и чтоб не баловали по дворам. Он еще не успел дойти до усадьбы, где располагалась ротная кухня, как к нему подбежал вестовой — смысленый и шустрый ростовчанин Сахно.

— Разрешите обратиться, товарищ комроты? — произнес он четко и бодро, прикладывая руку к козырьку. Сахно выглядел озабоченным.

— Говори.

— Там что-то неладно, — произнес вестовой, как бы смущаясь и не глядя в глаза командиру. Движением головы он показал куда-то через плечо.

— Что неладно? — спросил Аслан мрачно. Он не выспался и поэтому был в плохом настроении.

— Бурмистр ихний руки на себя наложил.

Оказалось, что старый пан Севиньский, голова волостной управы, ночью повесился.

— Ну и шут с ним! — коротко и безапелляционно прокомментировал неприятную новость подошедший как раз Гончаренко. — Мы бы его все равно в расход пустили. Мало он что ли крови народной попил?

Аслан промолчал. Он был подавлен этой новостью. Не так, совсем не так представлял он себе встречу с освобождаемым народом Западной Белоруссии.

Все как-то не складывалось, ничто из предположений не оправдывалось, никакие выступления и доклады не подтверждались. Это впечатление усилилось, когда Аслан, проходя мимо дома пана Севиньского, увидел стоящую в скорбном молчании толпу местных жителей.

Никто их сюда не сгонял, да и час был ранний, а казалось, все село собралось у аккуратного белого домика под черепичной крышей, только этой черепицей и отличавшегося от домов других жителей. И Аслан вдруг вспомнил, что так же было когда-то в ауле Ведено, ко-

\* Матерь Божья! Все погибло... (польск.).

гда там скончался ненавидимый властями, но почитаемый народом мулла.

Многие бабы плакали, утирая обильные слезы концами платков, повязанных ниже подбородка. Мужчины стояли понуро, уставившись себе под ноги и на вопросы не отвечали или бормотали: «Не розумьем»\*.

Как раз в тот момент, когда Аслан поравнялся с крыльцом, на нем, выйдя из дому, появился ксендз. Заметив Аслана, он быстро перекрестился, как бы отгоняя от себя нечистую силу, и, не смотря по сторонам, прошел куда-то вбок. Этот маленький эпизод очень болезненно подействовал на Аслана. «Что же, они нас исчадиями ада считают, что ли?» — горько подумал он и вдруг остро ощутил потребность в общении с Сашей Черняевым.

Как нужно с ним поговорить, обсудить вопросы, которые в последние дни так резко и болезненно встали перед ним и о которых никому другому нельзя было поведать.

В армии, где счет времени особый и где даже день не столь уж малая единица, люди сближаются быстро. И Аслан Нагиев сблизился с юным лейтенантом так, будто дружба их насчитывала если не годы, то многие месяцы.

Обоих тянуло друг к другу. Саша Черняев — ленинградец, из учительской семьи, привлекал Аслана своей внутренней чистотой и твердой искренностью убеждений, заставивших его, отвергнув возможность продолжать образование в каком-нибудь вузе, избрать военную карьеру.

— Ты понимаешь, Аслан, — оставаясь с глазу на глаз, они говорили друг другу «ты» и называли по именам. — Никаких особых способностей у меня нет. Ну, в школе шел я по математике на отлично, не хуже успевал и по истории. Литература тоже шла хорошо. Что же мне было делать? Математика? Настоящего ученого из меня не выйдет. Это я чувствовал. Идти на исторический?.. Он помолчал, поднял в раздумье свои красивого рисунка каштановые брови, пытаясь ухватить мысль и поточнее сформулировать ее. Пошевелил пальцами, словно уже нащупал искомое. — Понимаешь...

---

\* Не понимаю, (польск.).

Сейчас не время для историков. Они явятся потом. История не пишется по горячим следам. Факты, события должны остыть, тогда можно дать им справедливую оценку, сделать глубокие выводы. А сейчас история делается. И делаем ее мы. Мы строим новое общество, оно будет справедливым и равным для всех. Но для этого мир надо очистить от всякой скверны и у нас в стране и за ее пределами. Столкновение с капитализмом неминуемо. Отживающий мир сам своих позиций не уступит. Рано или поздно оно произойдет, и мы все должны быть к нему готовы. И самое правильное, что я мог сделать, это стать командиром Красной Армии. Ей уготована великая роль и рано или поздно она ее выполнит. Что может быть прекраснее, чем участвовать в освобождении человечества от вековых оков?

Глаза Саши Черняева, только что закончившего тираду, с восторгом и счастьем смотрели на собеседника. Аслан слушал друга и соглашался с ним. Он сам не умел так складно пересказывать чужие мысли (хотя Саше Черняеву казалось, что он высказывает свои собственные), но сердце его откликалось на эти восторженные слова и загоралось тем же чистым пламенем. В такие минуты Аслан не испытывал сомнений. Но только в эти минуты. Стоило Саше замолчать и тем более удалиться, и, особенно, стоило Аслану послушать штатных пропагандистов, — а они часто выступали в те месяцы в воинских частях, всегда читая по бумажке, — и его вновь одолевали грызущие душу сомнения. Самый тон этих выступлений, какой-то казенный, неубедительный и неискренний вызывал сперва смутное, а потом все яснее сознаваемое раздражение. И эта пресная аргументация, всегда почерпнутая из вчерашнего номера центральной газеты, и этот их слащавый оптимизм, когда они говорили о положении внутри страны — а ведь оно было у всех перед глазами, — все отталкивало и даже вызывало стремление возразить. А возразить было что по любому вопросу.

Саше возразить было нечего, а профессиональным уговаривателям Аслан бы нашел что возразить. Но он знал, что этого делать нельзя, что это не только опасно, но губительно, и запираемые внутри себя возражения тяжелым грузом оседали где-то на дне души и давили, давили, давили ее. Потому так и полюбил Ас-

лаф Сашу Черняева, что общение с ним, его восторженные речи снимали хоть на время тот груз, который порой становился просто невыносимым. И Аслан не мог в эти мгновения не заразиться, хотя бы в малой степени, Сашиним энтузиазмом, хотя не все понимал в его словах, а спросить, что значит, например, слово «скверна» — стеснялся.

Сашу тоже тянуло к Аслану. Ему импонировала не только большая физическая сила товарища, чему всегда подвержены люди некрепкого сложения, но романтического склада, но и меткость Аслана в стрельбе, неутомимость и ловкость при выполнении любых упражнений, столь необходимых в пехоте, — все те качества, которых не доставало ему самому. Саше — восторженному, красноречивому и, как все пылкие люди, порою теряющему уверенность в собственных возможностях и способностях—нравилась в Аслане Нагиеве его спокойная уверенность во всем, что он делает, определенность в решениях, немногословие, отсутствие подобострастия перед начальством, перед которым он был способен даже во вред себе отстаивать своих подчиненных и — главное — явно чувствовавшееся врожденное мужество, лишённое всякой рисовки, такое же естественное и очевидное, как дыхание или зрение.

Но на этот раз и общение с Сашей Аслану не помогло. Они встретились на четвертый день освобожденного похода, и в глазах Саше Аслан прочел растерянность, смущение и даже как будто просьбу. Да, именно что-то робкое, просительное было в этих по-детски чистых и ясных синих глазах.

В тот вечер у них была возможность остаться вдвоем, заночевать в одной хате, но Саша ею не воспользовался, и это даже обидело немного Аслана. Только много позже Аслан понял, что Саша умышленно избегал его в те дни, не потому что охладел, а потому, что нечего было бы ответить, если б Аслан задал вопрос прямо, что он, хотя и не часто, но делал. Саше, видимо, нужно было какое-то время, чтоб собраться с мыслями, обдумать все происходящее за последние недели (начиная с пакта о ненападении с Германией) и привести в привычную стройность всю систему своих воззрений. А для этого требовалось многие из них перегруппировать, одни убрать с передних позиций в тень, дру-

гие, наоборот, разыскать в труднодоступных запасах сознания и выдвинуть на первый план, осветить, а может быть, даже искусственно подсветить (увы, увы!) так, чтоб они обрели ту значимость, которую теперь необходимо было им придать. Для такого человека, как Саша Черняев, это был нелегкий и нескорый процесс.

\* \* \*

На пятый день вышли к демаркационной линии. Принимались чрезвычайные меры, чтоб строжайшим образом эту линию нигде не нарушить. Самый термин «демаркационная» и то, как точно и четко были обозначены крайние пункты выдвижения войск, неопровержимо указывало на строгую согласованность действий и предварительную договоренность с германским командованием, иными словами — сговор. Всякому человеку, способному мыслить мало-мальски самостоятельно, становилось ясно, что происходит четвертый раздел Польши.

При каждом батальоне шли штабные офицеры, помогавшие в определении крайних точек выдвижения частей, чтоб — упаси Бог — не ущемить нигде интересов немцев и не вызвать инцидента.

В своей полосе продвижения полк, в котором служил Аслан, за все пять дней так и не встретил ни одной польской воинской части, но у соседей слева столкновение было, имелись раненые и даже убитые. Эта часть наткнулась на остатки разгромленных к югу от Варшавы польских стрелковых дивизий, попавших в окружение, но сумевших вырваться и пробить себе дорогу на восток. Те поляки, которые уцелели после столкновения с новым противником, попали в плен и, как рассказывал вернувшийся из штаба округа порученец, всех нижних чинов разоружают и, погрузив в эшелоны, гонят на восток, офицеров же, разоружив, сосредотачивают в Катынском лесном массиве.

Увидел наконец Аслан и немцев.

Прямо за околицей последнего занятого польского местечка протекал безымянный ручей, на другом берегу его начиналась уже германская зона. Там был заливной луг, переходивший в молодой березовый, вперемежку с сосной, лесок, на опушке которого раскинулся большой хутор, где и расположились немцы.





Они часто подходили к ручью, купались, стирали белье и просто грелись на солнышке — осень в том году в Польше стояла мягкая, теплая — и тогда солдаты обеих армий получали возможность с близкого расстояния разглядывать друг друга.

Был приказ ни в коем случае не вступать с ними в общение, но и ни под каким видом не конфликтовать.

Аслан внимательно вглядывался в лица германских солдат. Ведь как никак это были живые фашисты во плоти и крови, о которых ему столько говорили и в школе, и в военном училище, и на инструктивных лекциях уже здесь в полку. Да и в газетах сколько читано о них!

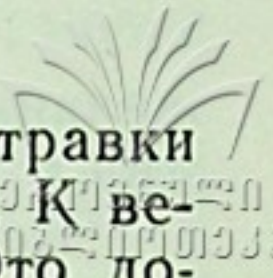
Первое впечатление было сродни разочарованию: люди как люди, ничего в них нет специфического, ничего резко отличающегося, разве что обмундирование побогаче, чем у нас: сукно добротное, кителя пригнаны по фигуре, сапоги хромовые, у всех ярко надраены. Офицеры — те просто как с картинки сошли.

Но не это главным образом интересовало Аслана. Хотелось понять, что у них внутри, какие мысли и чувства владеют ими, что определяет их поведение и настроение, как они сами себе представляют свои убеждения.

Но понять было трудно. Многие немцы смотрели на советскую сторону настороженно и неприязненно, как, впрочем, и наши на них, но большинство с усмешливым любопытством, а иные так даже приятельски подмигивали. Эти были опаснее всего, потому что в ответ на улыбку хотелось улыбнуться самому, что было строжайше запрещено: никаких контактов! Никакого личного общения! За нарушение этой инструкции — трибунал!

Поезд все глубже и глубже втягивался в северокавказские степи. Солнце, бившее слева, ушло за паровоз, а потом косоприцельными лучами взяло своей мишенью правую сторону поезда.

В купе, находившемся с этой стороны, стало жарко, и Аслан Нагиев вышел в коридор. Он стоял у открытого окна и жадно вдыхал плотный теплый воздух, насто-



янный на запахах сырой земли, пробивающейся травки и угольного дыма, извергаемого трубой паровоза. К вечеру посвежело, потянуло пахучей прохладой. Это доносилось дыхание гор, невидимых еще, но уже близких, ощущаемых не только как географическая реальность, но как нечто такое, с чем все существо Аслана составляло единое целое.

На станции Кавказская бабы бойкими голосами предлагали всякую снедь. Аслан потолкался на пристанционном базарчике и задешево взял двух жареных курочек, десяток соленых огурцов, вареной картошки. Он чувствовал сильный голод, — теперь, когда он полностью оправился от ранения, ему все время хотелось есть.

Он разложил свою снедь на столике, нарезал уже слегка подчерствевший, купленный в Ростове еще теплым, пышный белый хлеб и предложил спутнику разделить трапезу. У возвращавшегося из командировки пожилого, жизнерадостного грузина во френче и щегольских шевровых сапогах оказалось с собой тоже немало съестного да к тому же три бутылки деревенского вина, и они вдвоем начали потчевать двух русских дам, ехавших по путевкам в Цхалтубо. Грузин произносил пышные тосты, дамы млели, обстановка складывалась легкая и непринужденная, но Аслан больше молчал. Он и вообще был неразговорчив, тем более на русском языке, а в присутствии дам, державшихся столь свободно, охотно пивших вино наравне с мужчинами, смеявшихся шуткам, порой не очень скромным, почувствовал, что не в состоянии выдать из себя ни слова. Да ему и не хотелось говорить, и вся эта канитель, затеянная грузином, была не по душе. В армии он отвык от кавказских застольных обычаев — там ели быстро и деловито, там просто подбрасывали горячее в топку человеческого организма, а не совершали нужный, но и приятный ритуал, для которого у него сегодня не было настроения.

Под каким-то предлогом Аслан вышел из купе и, чтоб его не позвали обратно, прошел в тамбур. Здесь, впервые за долгое время, захотелось выкурить папиросу. Но курить ему запретили. У него было прострелено легкое, и врачи в московском военном госпитале настоятельно советовали о табаке забыть. Это совпадало с

желанием и самого Аслана. Курить он научился в армии и был уверен, что отец не одобрит эту привычку.

Аслан стоял в тамбуре, открыв дверь наружу, и жадно вдыхал бурно вливавшийся очень прохладный, но чистый и вкусный, как вода в горном ключе, воздух. Уже совершенно стемнело, высоко в небе плыла, не отставая, но и не обгоняя поезд, полная луна, купавшаяся в золотистой, полупрозрачной дымке.

Все было хорошо у Аслана: он возвращался домой почти здоровый, уже восстановивший силы, возвращался с военной службы, не осрамив ни своей фамилии, ни своего народа: на кителе у него, прикрепленный самим Калининым, красовался орден Боевого Красного Знамени — одна из высших наград для командира Красной Армии в те годы, дома ждала его семья, предстояла встреча с нареченной (Зейнаб была очень милым подростком, какова-то она сейчас?), общение с друзьями детства. О них он редко думал в армии, а сейчас всех вспомнил. И все же он не ощущал той радости, на которую надеялся все эти годы. Гвоздь сидел в его сердце, длинный, ржавый гвоздь, и саднил непрерывно, не давая в полной мере насладиться счастьем возвращения.

## Глава 2

Причина, мешавшая капитану Аслану Нагиеву, демобилизованному из армии по ранению, награжденному боевым орденом и снабженному отличными характеристиками, чувствовать себя счастливым, заключалась в следующем.

Вскоре после освободительного похода в Польшу полк Аслана Нагиева был переброшен под Ленинград. Зима в том году началась очень рано. Уже в середине ноября морозы достигали 30 градусов.

Аслану, не привыкшему к таким холодам, приходилось нелегко, но он терпел: не может же командир роты выказывать слабость перед подчиненными, среди которых были и уральцы и сибиряки. Для них такая погода — дело привычное. Постепенно Аслан приспособивался к тому, как преодолевать мороз, как предохраняться от обмороживания, и порой даже начинал чувствовать ту озорную бодрость и подъем духа, которые

лютый холод придает закаленным людям, а штормовое море тем, кто не подвержен морской болезни.

19 ноября совершенно неожиданно был объявлен новый освободительный поход, на этот раз в Финляндию.

Как явствовало из официальных сообщений, а вслед за тем из выступлений политработников, Финляндия, оказывается, затевала гнусные козни против Советского Союза. Коварство белофиннов зашло так далеко, что они намеревались захватить Ленинград, Мурманск, Архангельск и лелеяли мечту о великой Финляндии до Урала. Советский Союз вынужден обороняться.

Через день после открытия военных действий было объявлено, что в пограничном городке Териоки сформировано финское правительство национального освобождения во главе с выдающимся сыном финского народа Отто Куусиненом. Не совсем ясно было, от кого собиралось освободить финнов это правительство, поскольку в столице страны — Хельсинки сидело другое правительство, избранное финнами на последних выборах и признаваемое всем миром, в том числе и Советским Союзом, посол которого еще и выехать из Хельсинки не успел.

Но у Аслана Нагиева не было времени размышлять над подобными вопросами — дел было по горло. Полк спешно перебрасывали в Карелию. К тому же рядом уже не было Саши Черняева, с которым он обычно обсуждал все, что тревожило и вызывало сомнения. Сашу перевели в другую часть, и он остался в Польше, или, как теперь стали говорить, в Западной Белоруссии.

Аслан, знавший о Финляндии только то, что говорили о ней в школе на уроках географии, а говорили очень мало, воспринял приказ о передислокации как всякий военный человек: не рассуждать, а выполнять, тем более, что польские впечатления успели уже притупить.

Но вспомнить Польшу все-таки пришлось. Начался поход, и опять он никак не был похож на освободительный, причем если в Польше население освобожденных деревень и местечек держалось хотя и настороженно, но пассивно, то здесь населения вообще не было: оно уходило вместе с частями финской армии. Те же, кто уйти не успели, не скрывали своей не-

нависти, отказывались от всякого общения, а случалось и стреляли с чердаков или прочих укромных мест.

Впрочем, и наступление выдохлось очень скоро: если в первые дни продвигались по пять-десять километров, то уже на четвертые сутки прошли всего два километра, а там и вовсе остановились, наткнувшись на хорошо организованную оборону и плотный заградительный огонь. На всем участке дивизия, в состав которой входил полк Аслана, перешла к обороне. По уставу надо было окапываться, но это оказалось практически невыполнимым: снегу по пояс и выше, а под ним земля, промерзшая настолько, что никакой шанцевый инструмент ее не брал. Приходилось делать нечто вроде брустверов из снега, но укрытие это было ненадежное, к тому же холода усилились, и к началу декабря морозы доходили до сорока.

Днем было еще сносно — жгли костры, все равно светло. Ночью же разводить огонь запрещалось: человек у костра отличная мишень для финских снайперов. А кругом матерый лес, столетние махины деревьев в три обхвата. Заберется финн в дупло и оттуда стреляет — поди обнаружь его. А стреляют они очень метко. Несмотря на затишье на фронте, полк нес потери. Немало было и обмороженных. Настроение у бойцов падало, тем более, что сводки ничем не радовали: ни на одном участке никакого продвижения. А про соседнюю дивизию ходили глухие, внушавшие смутную тревогу слухи, что она отрезана и припасы там подходят к концу.

Про правительство национального освобождения тоже ничего не было слышно. Один-единственный раз только упомянули о нем.

Судя по тому, что советская авиация предпринимала налеты на столицу белофиннов (а у чернофиннов что — другая столица? — вылез-таки довольно неожиданно и некстати ехидный вопросец), никакого освободительного движения в поддержку Красной Армии там не наблюдалось. Не проявлял сознательности финский рабочий класс.

Словом, опять все получалось как-то не так, не согласовывалось ни с писаниями газет, ни с выступлениями политработников. Но было и другое: здесь шла настоящая война, убыль в роте Аслана Нагиева составляла: шесть человек убитыми, одиннадцать ранеными,

семнадцать обмороженными. Самому Аслану ежеминутно грозила смерть. И виной всему этому — финны. Они были врагами и вызывали соответствующие чувства, потому что в этих невыносимых условиях не было возможности, да и времени не оставалось задуматься над совокупностью обстоятельств, вызвавших такое положение, вознестись на ту высоту, когда человеку с нормальным разумом и живой душой становится ясно то, чего он не может постичь, находясь в плену инстинкта самосохранения и низменных повседневных забот.

А тут, внизу, все казалось понятным, все отношения четко разграничены. Впереди (впрочем, и позади, в непроницаемой чаще леса) враг, каждую минуту грозящий тебе смертью. Вокруг товарищи по оружию — люди хотя другой веры и другой нации, но у которых ты можешь найти лично для себя защиту, люди, носящие одинаковую с тобой форму и принесшие ту же присягу. К тому же эти люди тебе подчинены, их жизнь в еще большей степени зависит от тебя, чем твоя от них, они смотрят на тебя с надеждой и доверием, и доверие это невозможно обмануть. Впрочем, такое Аслану и в голову не приходило. Впервые он оказался в боевой обстановке и вел себя, как пристало мужчине, как учили его в военном училище и как требовали традиции его народа да и всякого уважающего себя народа: не выказывал страха, старался убить как можно больше врагов и при этом не дать убить себя и своих подчиненных.

В этом в те дни заключался весь смысл жизни Аслана Нагиева, капитана Красной Армии, двинутой на захват Финляндии.

Двенадцатого декабря в полку был получен приказ начать наступление в северо-западном направлении. Офицеры полка этого не знали, но в штабе дивизии было известно, что советские части, попавшие в окружение в районе Суомисальми, находятся в критическом положении, причем теперь уже не одна, а две дивизии: вторая пробивалась на помощь первой и тоже оказалась отрезанной.

Зато, по данным разведки, противостоящие неприятельские части скрытно ушли. Их, вероятно, перебрасывали на более угрожаемый участок, а здесь оставили лишь слабый заслон. Равномерно насытить тысяче-

километровый фронт равноценными войсками мало-численной финской армии было явно не под силу.

И действительно, на второй день наступления после интенсивной артподготовки полку удалось овладеть передней линией обороны противника. Рота Аслана Нагиева первой ворвалась в финские траншеи и в рукопашной схватке перебила защитников. Самому Аслану удалось живым захватить командира роты. Это был довольно редкий случай потому, что финны, особенно офицеры, обычно в плен не сдавались. В разгаре боя Аслану было недосуг заниматься пленным, и он передал его первому подвернувшемуся бойцу, приказав доставить в штаб батальона, а сам с ротой продолжал наступление: впереди, в сгущавшихся уже сумерках очень короткого в здешних местах зимнего дня, различалась вторая линия обороны. Ее хорошо было бы взять с ходу с тем, чтоб завтра развивать наступление. Стало известно, что третьей линии обороны у финнов на этом участке нет.

Аслан так и сделал. Не ожидая приказа, он командовал новый бросок вперед и через четверть часа, когда рота, утопая по грудь в снегу, но не встречая огня противника, ворвалась в окопы второй линии, там не оказалось никого.

«Что ж это получается? — думал Аслан. — Весь участок держали каких-нибудь несколько десятков финнов? И мы столько дней простояли перед ними, боясь нос высунуть?»

Радость одержанной победы, первого успеха в этой бесславной войне испарилась мгновенно. Невелика заслуга осилить горстку каких-то мелкорослых бойцов противника — явно из второго эшелона. И даже то, что он собственноручно захватил командира — за это ведь и орден могут дать! — уже не радовало. И тот был какой-то слабосильный, и Аслану не составило ни малейшего труда повалить его на землю, обезоружить и скрутить руки. Единственно, что успел сделать финн, это вцепиться зубами в руку Аслану и прокусить ее до кости.

Но вечером Аслана вызвали к командиру полка, и там ждала его новая неожиданность. Штаб разместился на участке большого хутора, но не в жилом доме — его перед уходом хозяева аккуратно спалили, --- а в

сарая, тоже добротнo сложеннoм из бревен и даже утепленном строении, достаточно просторном, чтоб разместиться в нем все штабное хозяйство.

Войдя с мороза и впустив вместе с собою тугие, округлые клубы пара, Аслан огляделся, не зная, к кому обращаться, кто здесь старший по званию. В полутемном помещении, освещенном единственной керосиновой лампой с треснувшим стеклом, за каким-то подобием стола он разглядел четверых: командира полка, плотного, наголо обритого подполковника Зотова с простым крестьянским лицом, начштаба полка майора Куролева, немолодого, болезненного вида человека с темными, седеющими волосами и щеточкой усов — тип сельского учителя или агронома, политрука Гончаренко и еще какого-то офицера в маскировочном халате, судя по мерлушковой папахе званием не меньше полковника, видимо, прибывшего из штаба дивизии.

Приложив руку к ушанке, Аслан глухим, сдвинутым от долгого пребывания на морозе голосом, но четко и с требуемой бодрой интонацией отрапортовал:

— Командир 2-й роты капитан Нагиев по вашему приказанию прибыл! — При этом он смотрел на полковника Зотова, решив, что не ошибется, если обращаться будет к своему непосредственному начальнику.

— Доложите о сегодняшнем деле! — приказал Зотов, смотря на Аслана со странным, как тому показалось, выражением.

Аслан вкратце повторил то, что полковнику и так уже было известно по ранее отправленному донесению.

— Потери роты?

— Двое убитых, шестеро раненых, из них трое легко. Остались в строю.

Незнакомый полковник слушал, внимательно вглядываясь в стоявшего перед ним мощного, очень рослого офицера из нацменов, видимо, тоже легко раненного, потому что левая рука у него была перебинтована, но даже не упомянувшего о своей ране.

— Потери противника? — продолжал спрашивать Зотов.

«Зачем он разводит эту канитель?» — подумал, услышав новый вопрос, Аслан. — «Я же все сообщил в письменном донесении».

— Восемнадцать убиты, шестеро нижних чинов взя-



ты в плен — все раненые. Остальным — человек двадцать пять-тридцать — удалось отступить. <sup>Взят в плен командир...</sup> подразделения.

Аслан споткнулся на последнем слове, не зная, как определить разгромленную часть: для роты их было слишком мало. Не называть же их взводом?

— Кто взял командира? — спросил полковник Зотов и неожиданно слегка улыбнулся.

— Вторая рота взяла, — ответил Аслан, размышляя над тем, что могла значить неожиданная в данных обстоятельствах улыбка.

— А точнее?..

— Я взял.

Вдруг оживился державшийся до того пассивно политрук Гончаренко — младший по званию из сидевших за столом.

— Вон твой пленный, — сказал он насмешливо, и широкий, губастый рот его с редко посаженными, выпирающими наружу зубами расплылся в полукруглую, от уха до уха, улыбку. В глазах зажглись знакомые Аслану злобно-веселые огоньки.

Гончаренко тыкал пальцем куда-то за спину Аслану, и тот обернулся в указанную сторону. Там, в дальнем углу сарая, на табурете сидела женщина лет тридцати, с коротко стриженными блеклорыжими волосами, некрасивая, веснушчатая, тупоносая. Она с ненавистью и отчаянием смотрела на Аслана. Одета она была в форму старшего лейтенанта финской армии.

Аслан глядел на нее и еще не понимал. Он слышал, что у финнов есть женские батальоны, но как-то не приходило в голову, что ему самому придется иметь дело с такой воинской частью. А Гончаренко, неизвестно чем очень довольный, снова заговорил:

— Баба! Понял? Бабу ты в плен взял, Нагиев!

Аслан почувствовал, как туман застилает ему глаза, а изнутри словно кипяток разливается. Это кровь бросилась ему в голову. «Всемогущий Аллах! Что же это? Он, Аслан-бек Нагиев — потомок воинов Шамиля и Гамзат Хана, воюет с женщинами? За что ему такой позор, такое бесчестие?»

Бессвязные клочья мыслей, словно оборвавшаяся кинематографическая лента, проносились в его мозгу и ни за одну невозможно было зацепиться, чтоб остано-

вить это бешеное мельканье, — обдумать и понять, что же с ним все-таки случилось и кто в этом виноват.

Штабной полковник, все время не сводивший глаз с Аслана, понял его состояние и, вмешавшись в разговор, сказал сухо:

— Вашу шутку, товарищ Гончаренко, считаю неуместной. Капитан Нагиев взял в плен командира 3-й роты 28-го резервного полка финской армии и будет представлен к правительственной награде. От имени командира дивизии объявляю вам, капитан Нагиев, благодарность. Всей роте за захват неприятельской позиции завтра выдать дополнительный паек и по сто грамм водки! — и, сменив официальный тон на приятельский, добавил, — согреться им не помешает, правда?

— Так точно, товарищ полковник! — механически отчеканил Аслан, не чувствуя, однако, облегчения. Наоборот, слова о представлении к награде привели его в дополнительное замешательство. Да ведь с такой наградой там, дома, показаться людям на глаза стыдно.

— За что у тебя медаль, Аслан? — спросит кто-нибудь.

— Бабу финскую в плен взял, — придется ответить. Засмеют, на улицу не выйдешь. Ай, Аслан, Аслан, ужели это все, на что ты способен?

Он оглядел трех сидящих за столом (на Гончаренко и смотреть не хотелось) и ни у одного не прочел в лице отражения тех чувств, которые в эти мгновения терзали его самого. «Что это за народ? — думал Аслан. — Все у них как-то наоборот, ни в чем мы с ними не схожи. Воюют с женщинами и не стыдятся. Захватывают чужие земли, говорят, что освобождают, сами напали на финнов, без объявления войны, а объясняют тем, что финны, мол, хотели захватить территорию СССР чуть ли не до Урала. Мыслимое ли дело? Ведь в одном Ленинграде народу, пожалуй, больше, чем во всей Финляндии. И верят. Что им ни скажут сверху — всему верят. Что за народ такой?»

«А ты что за человек? — вдруг спросил его кто-то изнутри.— Ты когда сообразил, что не могла маленькая Финляндия с трехмиллионным населением грозить стране с населением чуть ли не в двести миллионов? Сейчас? Когда самого тебя коснулось непосредственно? Когда задета твоя мужская гордость? А раньше ты,

ведь молчал, тебе было наплевать на финнов, на их страну, на их судьбу. Да ведь не просто молчал, а служил им: и Польшу помогал с гитлеровцами делить, и сейчас помогаешь завоевывать Финляндию. А ведь твой народ они когда-то вот так же завоевали. «Покорение Кавказа», так называют они свою победу над твоим народом. Покорение, это от слова покорность. А покорность это свойство раба. Раб, вот кто ты, Аслан Нагиев!»

Аслан даже глухой стон издал, дойдя в мыслях до этого заключения. Полковник из дивизии удивленно посмотрел на него:

— Вы плохо себя чувствуете, капитан? — спросил он участливо.

— Немного рука заболела... — лишь бы что-нибудь ответить сказал Аслан и тут же ужаснулся: а ну как полковник спросит о ране и придется ответить, что сидящая в углу простоволосая, заплаканная женщина укусила его в руку.

Но, к счастью, этого не случилось. Полковник, занятый своими мыслями, сказал только:

— Я вас больше не задерживаю, капитан. Можете быть свободны.

А задумался начальник дивизионной разведки полковник Стеблицкий вот над чем. Когда в штабе дивизии было получено донесение командира полка Зотова о лихой атаке 2-й роты, в результате которой удалось захватить позицию противника (Зотов еще не знал в тот момент, что его полку противостоит женский батальон), кто-то из штабных офицеров сказал:

— Там у них одной ротой командует чеченец. Как его?.. Нагиев, кажется. Не его ли рота? Мастер спорта.

— Да? — заинтересованно откликнулся другой. — По какому виду?

— По борьбе. Чемпион Вооруженных Сил. Я его видел на первенстве в Смоленске. Огонь парень, а уж силица! Рост — метр девяносто...

Стеблицкого заинтересовал этот разговор. С агентурной разведкой дело обстояло из рук вон плохо, приходилось делать ставку на фронтовую, но опытных разведчиков было раз-два и обчелся. А, оказывается, на передовой есть человек, который мог бы в разведке весьма пригодиться: шутка ли — мастер спорта по

борьбе! Такой любого скрутит, руки-ноги так заплетет, что и пошевелиться не успеешь. Вот кого посылать язы-ка братъ. Если свойства характера и анкетные данные подходят, надо добиваться его перевода к нам. Ротой командовать каждый дурак сумеет.

Как у всех кадровых разведчиков, у Стеблицкого выработалось пренебрежительное отношение к массовым родам войск.

Стеблицкий поделился своей идеей с начальником штаба. Они вместе просмотрели личное дело капитана Нагиева. Характеристики были хорошие: смел, исполнительен, службу знает, политически благонадежен. Правда, были и два «но»; вспыльчив и беспартийный.

На первое не обратили внимания: какой же кавказец не вспыльчив? Ведь все же серьезных нарушений дисциплины не отмечено, во всяком случае взысканий не имеет. Значит, держит себя в должных рамках.

Второе — беспартийность капитана Нагиева — была препятствием куда более серьезным. Но и она не имела решающего значения: сейчас не мирное время, чтобы выдвигать только партийных.

— Знаешь что, Петро? — сказал Стеблицкий начальнику штаба, с которым был на короткой ноге. — Съезжу-ка я к ним в часть, сам погляжу на него, прощупаю.

— Во-во. Мысль резонная, — ответил степенный немолодой начальник штаба. — Кстати, посмотри, может, там к награде кого представить можно. Настроение у бойцов подыметя...

Аслан произвел благоприятное впечатление на Стеблицкого и, когда продвижение полка, упершегося в хорошо подготовленную новую полосу обороны неприятеля, застопорилось и бои на этом участке затихли, вызвал его к себе.

Получив приказание явиться в штаб дивизии, Аслан не на шутку встревожился: неужели награждают?

Штаб, расположившийся в большом селе еще на советской территории, Аслан легко нашел по царившему вокруг него оживлению. Бывшее помещение средней школы, с начала конфликта эвакуированной, было просторным и достаточно удобным. Первый же встреченный в вестибюле офицер указал, как пройти к полков-

нику Стеблицкому, и при этом бросил любопытствующий взгляд на прибывшего с передовой рослого, зеленоглазого, явно не русского капитана.

Полковник Стеблицкий встретил его благожелательно. Задав для разбега несколько вопросов о последних операциях полка, о настроении бойцов и тому подобном (Не награждают, — подумал в это время с облегчением Аслан. — Но что же ему все-таки надо?), Стеблицкий перешел к делу.

— Что вы скажете, капитан, если мы вас переведем в разведку? — спросил он, внимательно уставившись своими небольшими острыми глазами в лицо Аслану.

Перевод в любой другой род войск, кроме разве что еще авиации, совершился бы в одностороннем порядке, но брать человека в разведку следовало только с его согласия — уж очень тонкое и щепетильное это дело, и Стеблицкий — офицер опытный и неглупый — это прекрасно понимал.

— Где прикажут, там буду служить, — ответил Аслан тоном, по которому нельзя было составить впечатления, понравилось ему предложение или нет.

Стеблицкому хотелось бы услышать другой ответ, какой именно, он и сам точно не знал, но другой. А впрочем, и такой ответ достоин дисциплинированного служаки. Оглядывая статную фигуру Аслана, Стеблицкий думал: «Все-таки в нем чувствуется военная косточка. Но, вероятно, будет малоинициативен. Что ж, подскажем, направим».

Прощупать капитана основательно не удалось, но общее впечатление осталось прежнее: достаточно благоприятное.

— Ну что ж, вопрос решен, — проговорил Стеблицкий, сам не зная почему испытывая облегчение, что разговор заканчивается. — Возвращайтесь в полк, сдавайте хозяйство. Приказ будет подписан сегодня.

Капитан Нагиев стоял перед ним, не двигаясь с места. Ясно было, что он хочет что-то сказать. Стеблицкий вопросительно посмотрел на него.

— Разрешите обратиться, товарищ полковник? — проговорил Аслан неуверенно, почти просительно. Как всегда в минуты волнения, ему стало не хватать русских слов.



— Ну...

— Товарищ полковник, вы тогда сказали награды... — Стеблицкий недоуменно поднял брови, не совсем понимая, о чем говорит капитан. — Не надо награды... Женщину поймал... («Эх, надо было сказать: захватил!» — пронеслось в голове у Аслана). Какая награда? Люди смеяться будут.

Брови Стеблицкого еще сильнее поползли вверх, образовав две круто изогнутые дуги. Лицо его с возникшими на лбу горизонтальными морщинами сразу стало старше лет на десять. Он положил обе руки на стол ладонями вниз и снова пристально взглянул на Аслана, не пытаясь скрыть своего неудовольствия.

— Я вам удивляюсь, капитан Нагиев, — медленно заговорил он, умело делая в нужных местах смысловые паузы. — Неужели вам неизвестно, что подобные вопросы решаются без участия кандидата к представлению?

Чувствовавший смущение уже в тот момент, когда обращался к полковнику, Аслан теперь, увидев, как тот воспринял его слова, смутился еще больше. Он молчал, не находя слов, чтоб ответить.

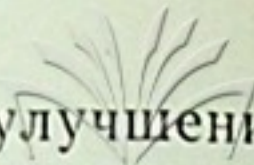
Стеблицкий умышленно заставил его простоять томительную минуту в полном молчании и тогда сказал:

— Это все у вас? Тогда можете быть свободны... — и уже чуть более мягким тоном добавил: — Завтра приступаете к новым обязанностям.

Аслан с облегчением вздохнул — хотя бы эта мучительная сцена кончается, — четко отдал честь, повернулся кругом и вышел.

\* \* \*

Аслана доставили в медсанбат и оттуда срочно, на специально выделенной машине еще дальше в тыл, в Петрозаводск, в окружной госпиталь. Там старший хирург армии немедленно сделал ему операцию. Пулю, застрявшую в правом легком, извлекли успешно, но начался воспалительный процесс — ведь кусочек свинца пробыл в теле больше суток. Несколько дней держалась высокая температура, сознание то возвращалось к Аслану, то он снова впадал в беспамятство, но в конце концов организм молодого, никогда не болевшего человека, сильного не только телом, но и духом,



постоял за себя. Через неделю наступило улучшение, опасность для жизни миновала, хотя положение все еще оставалось тяжелым.

В эти дни Аслана навестил полковник Стеблицкий, находившийся в Петрозаводске в командировке.

Приход полковника Аслан воспринял двояко. С одной стороны визит внес разнообразие в его унылое, монотонное пребывание в палате для тяжелораненых, из которых ни с кем у Аслана не установилось того легкого общения, которое так скрашивает часы вынужденного безделья в больнице или в вагоне поезда. После события, которое произошло в его жизни, Аслану было бы трудно говорить со своими бывшими товарищами по оружию. Они остались там, где был и сам Аслан еще совсем недавно, и не поняли бы его, если б он заговорил откровенно о том единственном, что сейчас занимало все его мысли, а говорить неискренно, говорить пустое — было не в его обыкновении.

По этой же причине Аслан не чувствовал себя польщенным визитом начальника, как несомненно чувствовал бы еще две недели тому назад при подобных обстоятельствах. Но теперь он был другим человеком, и внешние успехи по службе для него значили мало. Что-то треснуло в нем, сознание раздвоилось, и с каждым часом трещина разрасталась. Эта перемена, чуть обозначившаяся еще в Польше и продолжавшаяся здесь, на койке военного госпиталя, была такой важной, что Аслан понимал: прежним он уже никогда не будет, и жизнь теперь у него пойдет по-другому. Как? Он и сам этого ясно себе не представлял, но знал, что по-другому.

И поэтому визит полковника Стеблицкого, явившегося к нему из его прошлой жизни, не был приятен Аслану.

А Стеблицкий, увидев Аслана неподвижно лежащим на спине, с обросшими рыжеватой щетиной впалыми щеками и туго обтянутым сухой, полупрозрачной кожей горбатым носом, который вообще у него длинным не был, но сейчас таким казался, подумал: «Ну, этот вряд ли выкарабкается». Нельзя сказать, чтоб подобная мысль очень уж опечалила полковника Стеблицкого — он много разного видел на своем веку, в том числе и преждевременных смертей. Но, человек воен-

ный, Стеблицкий ценил в капитане Нагиеве хорошего, храброго офицера, воевавшего как надо на этой войне, причинявшей пока одни неприятности и конфузы. Именно потому он счел нужным навестить Нагиева, а сейчас, увидев его состояние, — сказать несколько ободряющих слов:

— Ну что ж, капитан. Главные неприятности у вас, как я вижу, позади. Еще немного терпения и дело на поправку пойдет.

Аслан промолчал, глядя прямо перед собой. Он чувствовал себя немного крепче, сознание уже не покидало его, но не знал еще, останется ли жив, хотя доктора убеждали в этом, и не был уверен, что ему хочется остаться в живых. Это теперь было не так уж важно. Важнее было другое: понять главное, ответить себе на вопрос, который мучил уже давно, а теперь, когда он получил от того финна пулю в грудь, беспрерывно сверлил и сверлил, хотя он не в состоянии был точно сформулировать, в чем вопрос заключается. При попытке облечь его словами он дробился, распадался на отдельные, тоже важные, но частные вопросы: кто я? что я здесь (он имел в виду себя в Красной Армии) делаю? должен ли я быть таким, как прежде, или должен измениться? И если должен измениться, то каким мне нужно стать? Все это были серьезные, но какие-то боковые вопросы, они все били мимо цели, вернее, в мишень попадали, но в ее внешние круги, ядро же, тот маленький черный кружочек, который стремится поразить каждый хороший стрелок, оставался неуязвимым.

И потому слова Стеблицкого не затронули его, пройдя лишь по касательной сознания. Стеблицкий же, сделав небольшую паузу, высказал главное, ради чего пришел:

— Ваш финн крупной птицей оказался. Мы получили важные сведения.

Упоминание о взятом им языке не оставило Аслана равнодушным. Он чуть вздрогнул и, повернув голову в сторону полковника, впился в него взглядом. Стеблицкий понял проявленный раненым интерес по-своему и, довольный, что удалось вывести капитана из состояния апатии, продолжал оживленно:

— Его сам командарм допрашивал. Теперь уж от ордена не отвертитесь. — И полковник Стеблицкий



приятно улыбнулся, тем самым показывая, что давешнее недоразумение считает исчерпанным.

— От ордена не отверчусь... — эхом отозвался Аслан, думая о своем. В голосе Аслана не чувствовалось радости или благодарности, но Стеблицкий отнес это за счет его болезненного состояния.

Считая свой командирский и человеческий долг выполненным, он пожелал подчиненному скорейшего и полного выздоровления и простился.

Оставшись один, Аслан закрыл глаза, пытаясь уснуть, но как всегда, когда этого особенно хочешь, сон бежал его.

Обычно человек помнит важные события своей жизни в мельчайших подробностях. Они ярко запечатлеваются в его памяти и остаются в ней навсегда. У Аслана, вероятно, потому, что был ранен и долго находился не в себе, получилось иначе. Только обрывки, только куски происшедшего, из которых трудно было составить цельную картину. Да он и не хотел этого. Он гнал эти образы, но они не поддавались его контролю. словно нежеланные гости, они толпились за порогом сознания и, едва приоткрывалась дверца, врывались настойчиво и бесцеремонно...

Его послали взять языка. Он отобрал из своей группы двух самых надежных бойцов, с которыми и раньше ходил на неприятельскую сторону. Перейти туда было нетрудно: сплошной линии фронта на этом участке не существовало. Труднее было идти на лыжах по ночному лесу безлунной ночью, но снег своим слабым, но явственным свечением растворял темноту хотя бы настолько, что можно было двигаться, не рискуя налететь на дерево... Потом они долго лежали, наблюдая за домом лесника, в котором два окна были освещены. Мороз стоял не больше десяти градусов — зима кончалась, февраль был мягкий... Почему он остался один? Да, выяснилось, что дом имеет второй выход. Тот, кого они подстерегали, мог выйти с противоположной стороны, и Аслан послал своих товарищей туда. Но тот вышел в его сторону, присел на крыльце, закрепил лыжи и пошел прямо на Аслана, не видя его. Это была большая удача, потому что сам Аслан ходил на лыжах неуверенно — только здесь научился, а в том че-

ловеке чувствовался опытный лыжник. Прими он от дома сразу вправо, Аслану бы его не взять. Но он пошел прямо и с каждой секундой приближался. Аслан уже различал ритмичное поскрипывание лыж по накатанному снегу, равномерное дыхание человека, приготовившегося к дальнему переходу.

Все произошло мгновенно. Подпустив его поближе, Аслан выскочил из-за своего укрытия и прыгнул на финна. Тот, хотя и явно застигнутый врасплох, успел выхватить револьвер и выстрелить. Аслан почувствовал толчок в грудь, но боли не ощутил. Всего несколько секунд ему потребовалось, чтоб повалить финна, перевернуть его лицом вниз и скрутить специальным шнуром руки за спиной. Связал он ему и ноги и, вспомнив, сунул кляп в рот. Лишь сделав все это, Аслан понял, что сам ранен. Теперь он ощущал боль, хотя и не очень сильную, но увеличивавшуюся. Ему пришло в голову, что если он посидит спокойно некоторое время, боль может уняться. Он сидел неподвижно, переживал и думал, куда могли деться его помощники. Они сейчас были нужны до зарезу, потому что, хотя он пока не чувствовал слабости, но опасался, что она может наступить с минуты на минуту, и тогда ему без них не обойтись.

По ту сторону дома раздались выстрелы: один, два, три... у Аслана был чуткий, тренированный слух, и он определил, что стреляли не сразу за домом, а значительно дальше, западнее, пожалуй, северо-западнее того места, где, как было условлено, должны были лежать в засаде товарищи. Сам он со своим пленником находился южнее дома.

Значит, там что-то происходит. Понял это и пленный финн. Он зашевелился, но остался на месте. Так придавленная камнем гусеница извивается, но сдвинуться с места не может.

Аслан посмотрел на пленника и снова, уже не в первый раз, встретился с ним взглядом. В глазах его он читал теперь не только ненависть, но и надежду. И все лицо финна, до того искаженное лишь мукой бессилия и отчаяния, выражало теперь напряженное ожидание.

Снова раздались выстрелы. Они сместились еще дальше к западу, и Аслан понял: ребята напоролись на

финский патруль, или тот обнаружил их, и они уведут его подалее от дома лесника, от того места, где Аслан, по их соображениям, уже должен был взять языка. Что ж, все они делают правильно, и ему, Аслану, медлить больше нельзя, надо возвращаться к своим. Ребята будут выходить сами. Так было приказано: один ведет языка, двое других прикрывают, а потом выходят самостоятельно.

Надо было уложить финна на его лыжи, привязать к ним и тащить волоком, — другого способа нет.

Но в груди у Аслана при вдохах и выдохах kloкoтaлo, он часто сплевывал кровью и понимал, что пуля задела легкое. Он боялся наклоняться. Тело его представлялось ему чашей, наполненной до краев. Стоит наклониться, и кровь хлынет из него. Но выхода не было. Присев на корточки и стараясь держать торс в вертикальном положении, он занялся необходимой процедурой: снял с ноги финна лыжу (другая отпала еще во время борьбы с ним и валялась неподалеку), подсунул продольно под пленника сперва одну и намертво закрепил, потом другую лыжу... Это было нелегко, даже если б пленник не сопротивлялся, а он мешал, как мог, извивался, мычал, хрипел. Но в конце концов Аслан сделал все, как его учили на двухнедельных курсах разведчиков. Живые сани. Сейчас надо было подняться на ноги и достать из-под куста, за которым он подстерегал финна, собственные лыжи. Но Аслан почувствовал головокружение и слабость. Скверно. Если это не пройдет, он сам может превратиться в пленника, освободится же финн в конце концов. Впрочем, сомнительно, узлы мертвые, их не распутаешь и они не ослабнут. В таком случае они оба замерзнут, если до того на них не наткнется финский патруль. Ведь его пленника хватятся в конце концов, как никак майор.

Сделав над собою огромное усилие, Аслан поднялся. Теперь, когда он встал на ноги, боль как будто слегка отпустила. Головокружение прошло, это уж точно. Аслан вспомнил, что при нем фляга с водкой. Он не был уверен, что в его состоянии можно пить, к тому же водку не любил и никогда не употреблял, но сейчас отвинтил крышку и сделал большой глоток. Горло обожгло, он поперхнулся, но успел проглотить и почти тотчас почувствовал, как по телу разливается ощущение тепла

и бодрости. Он не знал, надолго ли это, и решил не терять ни секунды.

Сплюнул на снег набравшуюся во рту кровь. Она была солоня на вкус и от нее поташнивало. В горле запершило, но он сдержался, так как боялся, что если кашлянет, то кровь хлынет горлом.

Аслан быстро закрепил лыжи и, взяв пленного на буксир, пошел. Надо было спешить: ручные часы показывали половину шестого утра. До света оставалось два часа, день стал намного длиннее.

Они шли около часу и, по соображению Аслана, были уже ближе к своим, чем к финнам. Начинало светать. Воздух вокруг был теперь, как синие чернила, сильно разведенные водой. Еще, еще, скорее, скорее. Надо спешить, потому что сил все меньше... Проклятый финн, успел-таки выстрелить! И ведь оба были в движении, а не промахнулся, прострелил легкое. Теперь Аслан в этом не сомневался и отдавал себе отчет, что ранение очень серьезное, но о смерти не думал. Как-то трудно было отнести к себе физическое небытие. Это других убивают, а как же мне умереть, ведь я — живой, мне так много чего еще надо сделать. Разве я могу умереть? Ведь тогда все мои дела останутся недоделанными, мысли недодуманными.

Сейчас вот нужно поскорее доставить пленного в часть. Полковник Стеблицкий ничего прямо не сказал, но по его тону чувствовалось, что командование придает важное значение захвату этого языка.

Прошли еще километра два. До своих было совсем близко. Как кончится лес, останется пересечь покрытую редким кустарником пустошь, потом небольшую, до дна промерзшую речку, на другом берегу которой новый лес. А в том лесу уже свои. Сколько это может быть километров? Пожалуй три, от силы три с половиной.

Но идти больше Аслан не мог — и задышался, и ослабел. Сплевывал он кровь все чаще и чаще, а которую не успел сплевывать — глотал. От этого его уже два раза стошнило — тоже одной кровью, тяжелыми, темными сгустками.

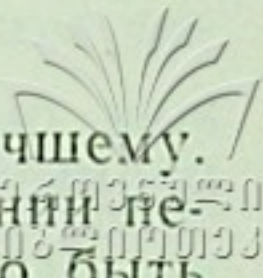
В эти мгновения финн смотрел на него выжидающе: ждал, что будет.



«Я не интересую его как человек, — грустно подумал Аслан. — Ему важно, дотащу я его до наших жилищ, сдохну здесь и что с ним самим тогда будет». Вот только сейчас, впервые в жизни, Аслану стало ясно и то, что он так же смертен, как все другие, и что он, по всей видимости, теперь же и умрет. Страшно не было, а только грустно: рано ему умирать, он ведь и не жил еще почти. «Значит, такова воля Аллаха», — подумал Аслан и в этом нашел некоторое утешение. И тут в его сознании всплыл вдруг совершенно простой вопрос из тех, которые именно из-за своей очевидности обычно не тревожат людей: «А ты сам интересуешься им как человеком? Ты захватил его, пользуясь внезапностью, которую тебе подарили обстоятельства, силой, которой наделила тебя природа, и умением, которому научили тебя люди. Точно так же ты бы напал на него, если бы он был волком или медведем. Получив приказ, ты бы напал на него, кем бы он ни был: итальянцем, китайцем, негром... Так что же ты ждешь от него сочувствия? Как может он, плененный тобой на своей земле, защищающий ее, не ненавидеть тебя?»

Аслан сидел и смотрел на финна все время с одной этой мыслью. Она словно застряла у него в мозгу и не пускала другие, нарушив их ход. Вдруг он почувствовал, что засыпает, у него даже голова начала клониться к груди. Как странно! Хотеть спать в таком положении! Он понял, что это не сон его охватывает, а покидает сознание. И если это случится, он наверное замерзнет раньше, чем умрет от раны. Но тут уж ничего поделать нельзя. Финн ранил его, и рана, по-видимому, смертельна...

Но замерзнет и финн, и это было уже совсем ни к чему. Получится, что он — Аслан Нагиев просто убил человека. Не языка взял, а просто убил, без всякого смысла. Что же делать? Надо вынуть у него кляп изо рта, пускай кричит. До финнов отсюда далеко, здесь его могут услышать только наши. И, подумав так, Аслан подполз к пленнику и неверной рукой — она заметно дрожала от слабости и напряжения — освободил ему рот. Финн смотрел удивленно и молчал, ожидая, что будет дальше. Он уже давно не извивался, поняв, что от пут ему не освободиться. Он примирился с мыслью о плене. Но сейчас появилась надежда, не на ос-



вобождение, нет, но на какую-то перемену к лучшему. Почему к лучшему? Да потому, что в его положении перемены к худшему быть не могло. Что же могло быть хуже? С ним важные документы и они попадут в руки к врагу. Неужели все-таки ничего поделать нельзя? Как этот дикарь справился со мной так быстро? И ведь какой живучий: я ранил его, тут нет сомнений. Он все время сплевывает кровь, а держится. Выносливость зверя. Цивилизованный человек давно бы свалился. Откуда он взялся такой?..

Аслану между тем пришло в голову, что пленник, вероятно, сильно промерз. Сейчас, когда давно остыло возбуждение, вызванное схваткой, он не чувствовал злобы к финну. Ненависть, без которой Аслан не смог бы выполнить свое дело, сейчас была ему уже не нужна и она покинула его, потому что для нее не было питательной среды в его душе. Так растение, механически вкопанное в неподходящую почву, простоит зеленое и с виду цветущее несколько часов, но потом неминуемо завянет.

«Надо дать ему сделать глоток водки, пусть согреется, — подумал Аслан. — Кстати, и самому выпить немного. Может быть, силы вернутся. Ведь совсем близко до наших».

С большим усилием Аслан достал флягу и, отвинтив крышку, заглянул в горлышко. Там было еще с полфляги, и оттуда прынул в лицо столь неприятный для него в обычное время, но сейчас придающий какую-то бодрость, вернее, надежду на бодрость, алкогольный дух.

— На, попей, — сказал Аслан. — Это водка. Понимаешь? Водка. Согреешься. Понял?

— Понимаю, — вдруг по-русски и почти совершенно чисто ответил пленный.

Аслан от удивления вздрогнул и посмотрел на него так, будто в этом бледном, слегка веснушчатом лице с плоским носом и белесыми бровями мог прочесть ответ на неожиданно возникший вопрос.

— Ты что — русский? — спросил Аслан.

— Нет, я — финн, — через силу выговорил пленный, и непонятно было, что мешает ему говорить более внятно: та ненависть, которую, как считал Аслан, дол-

жен был испытывать к нему пленный или просто он промерз до костей и ему трудно двигать ртом.

«Да, конечно, многие финны говорят по-русски,» — вспомнил Аслан. — Они ведь всего двадцать лет как стали независимыми».

«Да, они обрели независимость и сейчас героически отстаивают ее. Вся нация стоит насмерть, — сказал внутренний голос. — А что защищаешь ты?»

Аслан почувствовал резкий укол, словно кто-то сильным и точным ударом молотка вбил гвоздь ему в сердце.

— А ты что — не русский? — спросил тем временем финн.

Аслан промолчал, потому что тягостно было отвечать на этот вопрос, но перед самим собой он укрылся, как щитом, тем соображением, что разговаривать с пленным не положено. Вместо ответа он слегка приподнял левой рукой голову финна, а правой осторожно влил ему в рот водку. По тому, какие судорожные движения губами делал финн, видно было, что водка приходилась ему очень кстати.

— Спасибо, — сказал он, когда Аслан оторвал флягу от его губ.

Аслан ничего не ответил, вытер горлышко, сам отпил и, убрав флягу на место, сидел в профиль к финну и смотрел в одну точку. Мыслей почти не было. Ту, которая все время пыталась протиснуться в дверцу, он упорно выталкивал, а другие, которые могли бы спасительно отвлечь его — не приходили. Он просто ждал, поможет ли на этот раз водка, вернет ли она ему хоть немного сил. Если б он мог встать, он бы и двигаться смог, ну хотя бы несколько сот метров, а прошел бы, но как встать?

Финн пошевелился. Боковым зрением Аслан видел, что финн приподнял голову. Аслан слегка повернулся к нему. Даже это сделать было нелегко. Они встретились взглядами.

— А ты ведь не русский, — сказал финн со странной интонацией, пристально вглядываясь в лицо Аслана. И во взгляде его было какое-то особое выражение.

Почему-то Аслану захотелось ответить. Кто знает, может быть, это последний разговор в его жизни? Что

изменится, если он обменяется с этим человеком несколькими фразами?

— Да, — ответил Аслан коротко и добавил: Я с Кавказа. Чеченец. Слышал про таких? — Аслана тоже звучал невнятно, его плохо слушались губы, но не по причине холода.

Снова наступило молчание, но Аслан знал, что финн еще заговорит. Мало того, он знал, что тот скажет, и боялся услышать. И финн действительно заговорил:

— Послушай, чеченец, отпусти меня! — произнес финн голосом более твердым, чем до сих пор.

«Вот оно, началось», — мелькнуло в слабеющем сознании Аслана. А финн продолжал: — Ведь мы же были в одном положении двадцать лет назад. И вам еще предстоит то, что сейчас происходит с нами...

Аслан молчал, продолжая угрюмо смотреть в прежнюю точку. Финн, видимо, давая ему возможность обдумать ответ, тоже молчал и продолжал пристально смотреть на Аслана. Куда деться от этого взгляда?

— Отпусти меня, — снова заговорил финн, и голос его звучал теперь просительно, почти жалобно. — Надежда, озарившая было его, начинала меркнуть. — Ты только развяжи мне руки... Скажешь, что я сам развязался, а у тебя не было сил мне помешать. Ты ведь ранен, сильно ранен. Тебе поверят.

Форма, присяга, судьба близких — все опутывало Аслана путами куда более крепкими, чем те, которые держали финна. Каждый волосок Аслана был привязан отдельно. Надо было совершить титаническое усилие, чтоб освободиться от этих пут, и к этому усилию Аслан не был готов. А финн все ждал, и Аслан продолжал смотреть мимо него.

— Не могу, — глухо выговорил он наконец, и финн понял, что выслушал свой окончательный приговор.

И тогда он взорвался и, уже ни на что не надеясь, заговорил быстро, стараясь успеть сказать все:

— За кого ты воюешь? За своих поработителей воюешь! Ты защищаешь тюрьму своего народа. Знаешь это, а все равно защищаешь. Ты — раб, родился рабом и умрешь им!

Трудно вообразить на свете такого человека, который сказал бы подобные слова Аслану Нагиеву и ос-



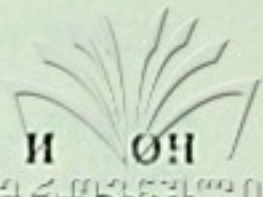
тался жив. А этот — остался. И не потому, что Аслан настолько ослабел, что не мог достать из кобуры револьвер и разрядить его в финна. На это он силы бы еще нашел. Но на нем была форма, и он продолжал чувствовать себя частицей огромного, сложного механизма, который не предоставлял ему возможности для отклонения от режима работы, от тех движений и действий, которые были задуманы создателями этого механизма. А в комплекс действий не входило убийство захваченного языка. Его следовало доставить живым.

И еще он не убил финна потому, что не мог этого сделать по совести, и тут ни при чем была беспомощность пленника. Выслушав подобное оскорбление, Аслан не поколебался бы выстрелить и в безоружного, и в беззащитного. Но он не сделал этого потому, что в словах финна, их уничтожающем смысле и презрительном тоне заключалась правда, справедливость которой он был не в состоянии оспорить. Не мог Аслан Нагиев убить человека, сказавшего ему жестокую правду в лицо и не убоявшегося последствий.

### Глава 3

Наступившие месяцы были внешне самыми благополучными в жизни Аслана Нагиева. Согрела сердце встреча с близкими, с невестой, с друзьями детства, с родным аулом, где каждая улица избегана вдоль и поперек сотни раз. Круча, на которую он мальчишкой карабкался почти отвесно, не казалась теперь такой труднодоступной: любой мог подняться на нее по деревянной лестнице. На плоском нагорье раньше рос молодой лесок из орешника и низкорослого дубка, теперь его оттеснили к юго-востоку, а ближе к аулу у самого отвеса, господствующего над Старыми Атагами, проложили дорогу через Чири-Юрт, на юг, в горы. Говорили, что теперь добраться не то что верхом, но и на арбе до Борзоя и даже до Итум-Кале — плевое дело. Сообщение с глубинными районами Верхней Чечни стало более удобным, но, как заметил Аслан, это обстоятельство не вызвало радости ни у отца, ни у других стариков.

Сам отец внушал Аслану, кроме естественных уважения и любви, нечто вроде жалости. Это чувство, об-



ращенное к отцу, казалось Аслану неуместным, и он пытался его подавить, но ничего не получалось, потому что каждый раз при взгляде на отца Аслан замечал, как тот сдал за те несколько лет, что они не виделись: спал с лица, совершенно поседел и даже как будто ниже ростом сделался. Со своей узкой, спускающейся до половины груди, тоже совсем уже белой бородой и нависающим над верхней губой крючковатым носом (Аслану казалось, что раньше нос у отца был как-то ровнее), Мамед-бек теперь мало отличался от тех стариков — старейшин аула, которые после вечернего намаза собирались потолковать о том о сем около мечети.

Мать, наоборот, почти не изменилась: все такая же молчаливо-заботливая, деловитая, все время занятая хозяйственными делами, она, как и прежде, была тем стержнем, на котором держался большой, всеми уважаемый дом Нагиевых.

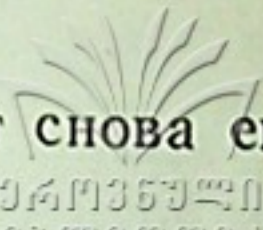
Средний брат Селим, похожий на Аслана, но поменьше его и ростом и в плечах, стал совсем мужчиной. Это был жизнерадостный, энергичный молодой человек, явно выносивший на своих плечах основную тяжесть по содержанию дома. Работал он там же, где отец — на племенном конезаводе, и еще не был женат, — ждал, когда женится старший брат.

«Ну ничего, — подумал Аслан, — вот осмотрюсь, отдохну немного и начну работать. Селиму легче станет».

Тревогу вызывал лишь младший брат, любимец Аслана Юсуп. За годы разлуки он, конечно, превратился из мальчика в юношу, но выглядел хрупким, бледным и болезненным. А ведь в детстве тоже был хоть куда — крепкий, шустрый, озорной.

— Что с ним? — спросил Аслан Селима, когда в первый вечер они остались вдвоем в той комнате, в которой и в детстве спали вместе. Беспокоить родителей этим вопросом Аслан не хотел.

— Грудь у него слабая, Аслан, — почтительно, как и подобает разговаривать со старшим братом, ответил Селим. — Всю зиму кашлял. В прошлом году послали его на все лето к калмыкам на кумыс. Помогло. Окреп. А в октябре ездил в Ведено к Абакаровым, помочь им надо было дрова заготовить, сыновей-то обоих в армию забрали, промочил ноги и простудился. С тех пор



опять кашляет. Вот оживет степь, надо будет снова его туда.

— Правильно говоришь, Селим. А отец что думает?

— Отец сам так сказал.

— Ну, значит, так тому и быть, — заключил разговор Аслан.

Очень мила стала нареченная — Зейнаб. Своим нежным овечьим овалом лица, преданно и робко смотревшими карими глазами и кроткой улыбкой, она вызывала в сердце Аслана теплое чувство. А большего испытывать к будущей жене мужчине и не пристало.

Но отец почему-то не заговаривал о женитьбе, не начинать же было Аслану самому этот разговор? Но так как не говорил старый Мамед-бек и чего-либо противоречащего давнему уговору с родителями Зейнаб, то Аслан решил, что, видимо, отец просто хочет со свадьбой не торопиться, а дать Аслану полностью восстановить силы, не спеша осмотреться и выбрать работу по душе.

А осмотреться было надо, потому что перемены в родном ауле Аслан застал очень большие.

Известно, что воспоминания о детстве всегда приукрашивают прошлое, которое на самом деле редко бывает таким уж радужным и безоблачным, каким оно видится нам с высоты горького опыта зрелых лет. Но стараясь трезво и объективно сравнивать былое с настоящим, Аслан все же не мог не отдавать предпочтения времени, когда он веселым и беззаботным подростком, не тревожимый ни сомнениями, ни раздумьями, ни житейскими обстоятельствами не ходил, не бегал даже, а проносился по безлюдным и пыльным, полным деревенского покоя и степенности улицам родного аула.

Правда, внешне произошли кое-какие перемены к лучшему. Регулярно ходили в Грозный автобусы, на площади, там, где когда-то толстый Акоп держал лавку и под сурдинку, и только верным людям, ссужал деньги под залог и проценты, теперь стояло помпезное двухэтажное здание клуба в том стиле, в каком строили в ту эпоху — с колоннами и порталом, но и с обвалившейся местами штукатуркой, обнажавшей, и даже подчеркивавшей, что колонны эти отнюдь не мраморные

и отнюдь не простоят века, как те, которые послужили для них образцом.

В клубе показывали кинофильмы и читались приезжими лекторами доклады, в том числе на антирелигиозные темы. Присутствие на этих последних мероприятиях фиксировалось по списку, и с этим приходилось считаться, тем более, что рядом с клубом, в доме, некогда принадлежавшем местному мулле Ахмеду-Ходже, разместился уже не пост и не комендатура даже, а отделение НКГБ, возглавлявшееся присланным откуда-то из России бледным и безулыбчивым, всегда хмурым капитаном Вагиным, которого не любили и боялись все в ауле, стараясь, однако, поддерживать с ним хотя бы внешне корректные отношения.

А мурлы Ахмеда-Ходжи уже не было. На вопрос Аслана, где он, отец только горестно рукой махнул, и Аслан не посмел повторять вопрос, но позже брат Селим рассказал, что мурлу забрали еще в тридцать седьмом году и, по слухам, расстреляли, обвинив в связях с Турцией, а заодно уж и с английской разведкой. И Аслан вдруг вспомнил почти забытого своего первого воинского начальника — комполка Ситникова, которого тоже обвинили в связях с иностранной разведкой, правда не английской, а почему-то шведской.

Но арестовать мурлу, этого святого человека, только потому, что он еще в царское время совершил паломничество в Мекку, находившуюся тогда на подмандатной Англии территории! Как они посмели?!

А Селим рассказывал и рассказывал. Постепенно, по мере того, как рассасывалось некоторое отчуждение, вызванное долгой разлукой и видом формы, в которой первое время продолжал ходить Аслан, отец тоже становился разговорчивее, и Аслан узнал такие вещи, которых и вообразить себе не мог.

Отец вспоминал:

Когда пришли брать мурлу, — было это глубокой ночью — у них все делается ночью, — люди все же узнали, и те, кого успели поднять разосланные во все стороны мальчишки, собрались у мечети, собираясь отбить мурлу. Но приехавший вместе с русскими чекистами секретарь райкома Гайсанов честным словом заверил сельчан, что через три дня, самое позднее через неделю, мурла Ахмед-Ходжа вернется, что его увозят,

лишь чтоб допросить. Гайсанову, отец которого до самой смерти жил в Старых Атагах и был уважаемым человеком, поверили и муллу с сопровождающим его конвоем пропустили. Ахмед-Ходжа, однако, не вернулся, мало того, вскоре стало известно, что его увезли куда-то дальше, а потом случилось то, о чем уже было сказано выше. Гайсанову это, конечно, не простили. В него два раза стреляли здесь в Атагах, а с третьей попытки убили уже в самом Грозном, куда, заботясь о верных кадрах, его перевело партийное начальство.

Ну, тут пошло. Сперва в Атаги ввели отряд в две сотни конных красноармейцев с пулеметами. Последовал приказ военкома всем, кто владеет огнестрельным оружием, сдать его в трехдневный срок. Некоторые повиновались, испугавшись последствий. Другие поверили обещанию, что после изъятия оружия никаких репрессий не будет, и тоже сдали. Третьи, не желая расставаться с оружием, все-таки дававшим какую-то надежду и уверенность, ушли, кто в Урус-Мартановский заповедник, кто еще дальше: в горы, к ингушам. И тогда оставшихся мужчин начали брать. Одних уводили из дому, других с работы, третьих отправляли в командировку в Шалы, Грозный, а то и в Гудермес и брали в дороге. Несколько месяцев продолжалась эта свистопляска, в результате которой бесследно исчезли десятки здоровых, полных сил мужчин, кормильцев семей.

Мечеть стояла опустевшая — второго муллы в Атагах не было. Старики ездили в Грозный, дошли до самого Сеида Хабиева, большого человека, тоже хорошо известного в здешних местах, просили прислать нового муллу. Хабиев обещал, но ничего не сделал, а вскоре, уже в тридцать седьмом году, сам исчез, предварительно потеряв свой высокий пост, и будучи исключен из партии.

— Как, и Сеида тоже арестовали? — поразился Аслан.

— Арестовали, не арестовали — нам об этом не докладывали, но только пропал Сеид. Незадолго до того, как остался без работы и партбилета, ко мне пожаловал... — Мамед-бек помолчал, пожевал запавшими губами, за которыми уже не было зубов, и, запрокинув

голову, закрыл на несколько мгновений глаза, как бы творя намаз... Когда он вновь открыл их, они смотрели твердо и жестко, но без злорадства. — Ну, принял я его, конечно, накормил. Что ж, говорю, теперь делать тебе будешь, Сеид?

— Домой хочу податься, ага, в Дагестан...

— Домой тебе нельзя. Там ведь ваши еще хуже сделали, чем здесь. Скота совсем не осталось, весь забрали. И людей поувозили больше, чем у нас.

— Ну, в этом я не виноват. Я там не распоряжался.

— Ты распоряжался здесь, там — другой, а результат один: — нет жизни людям.

Помолчал он, тяжело вздохнул и говорит:

— Не того я хотел, Мамед-ага.

— Не того? А веру пророка кто предал? Против Аллаха пошел?

Опустил он голову и молчит. Я тоже молчу. Нет у меня слов, чтоб утешить его, даром что гость. Так просидел он долго, все молчал и смотрел в темный угол, будто пытался увидеть того шайтана, который его, родившегося правоверным, на адскую тропу свел. Потом тяжело вздохнул и встал:

— Пойду я, Мамед-ага...

— Куда ж идти на ночь-то глядя? Переспишь у нас, потом пойдешь.

— Недостоин я ночевать под твоим кровом, Мамед-ага. Да и нельзя мне света дожидаться, опасно. Меня на днях возьмут. И тебе худо будет, что пустил меня ночевать. Прощай, Мамед-ага. Если можешь — помолись за меня Аллаху, попроси, чтоб простил меня, недостойного.

Ушел Сеид, а через три дня видели его в Гендергене — вон куда забрался. Все же в Дагестан пробирался. Да видели не одного — три русских чекиста с ним. Так что сам понимаешь...

Мамед-бек замолчал, и по выражению его лица нельзя было понять, жалеет он своего заплутавшего на жизненных тропах родственника или не жалеет.

— А нового муллу так и не прислали?

— Нет. Да что там — не прислали. Старики в Гудермес ездили, там один мулла соглашался переехать к нам. Не разрешили власти. А потом сказали: у вас мул-

лы нет, служить некому. Мы пока мечеть закроем, — все равно пустая стоит. И закрыли. С тех пор без мечети живем. На Курбан-байрам кто может в Чирк-Юрт или даже в Шалы ездит. Там еще есть мечети, а у нас — нет...

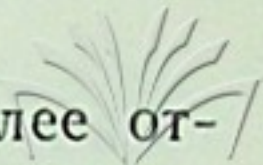
На этот раз Мамед-бек замолчал надолго, и горестные складки, протянувшиеся от крыльев носа, вокруг рта и скрывавшиеся под бородой, стали еще резче.

Аслан сокрушенно качал головой, цокал языком, слушая отца. Вот они, их порядки. А он столько лет провел в отрыве от дома, от того, чем жил и мучился родной народ, и ничего не знал. Да не просто не знал, а служил им, защищал их власть, и, следовательно, помогал им совершать то, что делалось. Соучаствовал... Тут Аслан резко оборвал ход своих мыслей. Он чувствовал себя не только отступником, он начинал сознавать себя виноватым перед своим народом. Правду говорил пленный финн...

Да и не только перед своим народом был он виноват. Вспомнился Аслану старый польский пан, повесившийся в первую ночь после освобождения местечка, бургомистром которого он был.

Особенно отчетливо вставал сейчас в памяти тот быстрый, испытующий взгляд, который пан бросил на Аслана, когда ему перевели распоряжение Гончаренко спустить польский флаг. Ведь взгляд этот выражал надежду, искал защиты от самоуправства, от попрания национального и человеческого достоинства. Говорят, молодость — счастье. Но есть и молодость — глупость. Сколько в ней самонадеянности, легкомыслия, эгоизма. Каким неотзывчивым, нечутким бывает человек, прислушивающийся лишь к собственным переживаниям, способный откликаться лишь на свои радости и горести. Только жизнь, горький опыт ее учит человека — и то не всякого — понимать чувства другого, редкому и благородному искусству сострадать, проникаться чужой болью, ощущать чужую беду как собственную.

Подобные мысли теперь все чаще владели Асланом. В нем шел мучительный процесс переосмысления той системы взглядов, бездумно вынесенных из детства и школы, в схеме которых удобно и просторно располагалась его прошлая жизнь. Аслан ясно отдавал себе отчет в том, что такой, каким он стал теперь, с еще толь-



ко складывающимися, но уже обретающими более отчетливые очертания понятиями, он не смог бы вернуться в Красную Армию и быть тем исполнительным, почти образцовым командиром, который в первом же серьезном испытании сумел отличиться. Да, короткое, столь мучительное и физически и морально общение с пленным финном стало разграничительным столбом, за которым осталась бездумная молодость Аслана. Теперь, пожив дома и узнав все то, что ему рассказали самые близкие на свете люди, не верить которым у него не было ни малейших оснований, Аслан мог в еще большей степени, чем прежде, оценить всю меру справедливости слов финского майора, а жестокими и обидными их больше не считал. Вернее, он так вжился в них, так проникся их смыслом, что форма, в которую они были облечены, уже не могла задевать или оскорблять его. Только смысл тех слов был важен, только он имел теперь значение и мог вывести на новую жизненную тропу, которую еще предстояло найти.

А жизнь между тем продолжалась. Болел Юсуп, старел отец, расцветала с каждым днем милая Зейнаб, тихо сиявшая тем невыразимым очарованием юности и предчувствием слияния с любимым, которое особенно красит чистую и мыслями и телом девушку.

В декабре неожиданно умер отец, и вопрос о свадьбе, естественно, отодвинулся по крайней мере на год. А через несколько месяцев началась война, настоящая война, а не освободительный поход. На этот раз в роли обороняющихся оказались русские, и выяснилось, что несмотря на многократные обещания «ответить ударом на удар поджигателей войны» и разгромить их на их же территории «малой кровью, могучим ударом», сделать это гораздо труднее, чем сказать с трибуны или спеть в песне.

Удар немцы нанесли сокрушительный. С ходу прорвав оборону вдоль границы, они ворвались во внутренние районы страны, и бронированные колонны завоевателей, сокрушая все на своем пути, катились вперед и вперед. Ничто, казалось, не было в состоянии их удержать.

Председатель поселкового совета Казбек Бибиев, с которым вместе кончал школу Аслан-бек (так после смерти отца стали называть старшего из братьев На-





гневых), суетливый, рыхлый человек, от чрезмерной тучности страдавший одышкой, встретив его как-то на улице, сказал:

— Ты добровольцем пойдешь в Красную Армию, Нагиев?

— Вместе пойдём, Казбек, — веско ответил Аслан-бек и выразительно посмотрел на Бибиева своими серо-зелеными, круглыми и неподвижными, как у дикой птицы, глазами.

Бибиев опустил взгляд и молча пошел своей дорогой, которая в военный комиссариат не вела.

Через неделю после начала военных действий Аслан-бека Нагиева призвали на действительную службу. В западных областях, на Украине и в Белоруссии гремели невиданные по масштабу сражения, в горнило войны бросались все новые и новые дивизии, но фронт неудержимо откатывался в глубь страны. 3 июля по радио выступил Сталин. Чувствовалось, что он волнуется, может быть, впервые за годы своей безраздельной власти, не умея скрыть этого от слушателей, а слушали его все. Сталин говорил, что над страной нависла смертельная опасность, признавал, что Красная Армия не сумела удержать врага, который уже занял всю Белоруссию и Литву, значительную часть Украины и Латвии и продолжает продвигаться вперед. Он призывал народ к тотальной войне и предупреждал, что она будет долгой и потребует всех сил на фронте и в тылу и унесет много жертв.

Аслан-бек слушал эту речь в казарме под Грозным, где формировался стрелковый полк, одним из батальонов которого ему предстояло командовать. Убыль в офицерском составе была столь велика, что приходилось назначать капитанов на непривычные для них должности.

В августе полк доставили в район Смоленска и с ходу бросили в бой, чтоб прикрыть брешь, образовавшуюся после того, как часть, державшая тут оборону, потеряв половину состава, не удержала позиций и в беспорядке рассеялась по окрестным лесам.

В этом секторе сложилось редкое положение: ни одной из сторон не удалось оседлать высшую точку местности — пологая возвышенность, совершенно лы-

сая, делала любую сторону, пытавшуюся закрепиться на ней, легкодоступной мишенью для противника.

Вот тут-то Аслан-беку довелось изведать вкус настоящей войны.

Не успел его батальон окопаться со своей стороны склона, как появился самолет-разведчик, который бойцы звали «рама». Он буквально завис над расположением полка, давая наводку расположенной где-то за возвышенностью артиллерии. Надо было сбить нахального разведчика или хотя бы отогнать его, но зенитная батарея на месте формирования полку придана не была. Она еще двигалась где-то по запутанным тыловым дорогам, а винтовочный огонь, открытый красноармейцами, ничего не дал. Самолет-разведчик, сделав свое дело и на прощание насмешливо качнув крыльями, ушел на запад. А вскоре начался артобстрел. Оставаться на месте значило уложить весь батальон, так и не увидев в глаза врага, отступить без приказа — невозможно, да Аслан-бек и помыслить не мог, чтоб начать свое участие в войне с несанкционированного отступления. И потому, воспользовавшись наступившей паузой, которая неизвестно долго ли продлится (а продлилась она, как потом выяснилось, ровно десять минут), Аслан-бек командовал батальону бросок вперед. Он знал, что где-то за гребнем поросшей только травой возвышенности, которая затрудняла обзор местности, должны находиться окопы, брошенные накануне частью, на место которой они прибыли. Конечно, в тех окопах сейчас наверняка находятся немцы. Ну что ж, думал Аслан-бек, лучше ввязаться в рукопашный бой, чем дать перебить всех своих людей, как куропаток, а самим даже не увидеть неприятеля.

Расчет оказался правильным. Немцы возобновили артобстрел, но теперь он был не страшен, так как снаряды проносились над головами и ложились метрах в двухстах сзади. Разве что какой-нибудь, пущенный в недолет, мог вызвать жертвы.

Аслан-бек был уверен, что, как только обстрел окончится, немецкая пехота двинется в атаку, и решил упредить ее. По линии был передан приказ выдвинуться к самому гребню возвышенности, но только ползком, не производя шума, не перекрикиваясь и ни в коем случае не вставая в полный рост. Так и вышло. Огонь пре-

кратился, и после нескольких минут напряженной тишины, от которой в ушах звенело, из-за гребня слышался дробный топот ног, резкие каркающие выкрики и даже как будто смех.

Аслан-бек вспыхнул. «Смеетесь? Уверены, что мы сидим и дрожим, кто жив остался? Сейчас увидите!».

Шум, производимый подходящими немецкими цепями, приближался.

Только пренебрежением к противнику, только утратой чувства ответственности, порожденной серией легких, непрерывных успехов, можно объяснить ту беспечность — как правило, немцам несвойственную, — с которой они двинулись в атаку. Понимая это, Аслан-бек скрипел зубами от ярости. В эти мгновения отодвинулись и растаяли, никак не проявив себя, все его горькие чувства в отношении той силы, за которую, уже зная ей цену, он все же был вынужден сражаться и, может быть, через минуту отдать жизнь. Он вновь ощутил себя частью огромного целого, сложной и, как выяснилось, не очень хорошо отлаженной машины, потрясенной, искореженной, потерявшей некоторые части, но действующей, живой, способной еще на ту работу, которая ей предназначалась. А перед ним была страшная, доселе неодолимая сила, сокрушавшая все на своем пути и грозившая уже в ближайшие минуты раздавить его самого. И единственная возможность уцелеть, сохранить жизнь и тот мир, который она в себе несла, заключалась в том, чтоб самому сокрушить эту силу, противопоставить свою мощь, ум, волю, умение, стойкость тем же качествам этих богов войны, этих демонов истребления и доказать им и себе, что они могут быть побеждены.

Трудно воевать, уважая врага, но опасно воевать, его не уважая. Это в полной мере испытали наступавшие немцы. Когда, почти поднявшись по склону (который с их стороны был круче), они вдруг увидели перед собой буквально в десяти шагах, словно из-под земли выскочивших красноармейцев, с бешеным криком бросившихся на них в штыковую атаку, они растерялись. Среди русских выделялся их командир — могучего сложения человек с яростными ярко-зелеными глазами тигра и небольшим горбатым носом, ощерившийся в каком-то подобии дьявольской усмешки, обнажавшей

крупные, желтоватые зубы. В нем было что-то варварски-азиатское, зверино-бескомпромиссное, и оберштурмфюрер СС Ранке, бравший Варшаву, единым махом вместе со своей отборной дивизией преодолевший расстояние от Мааса до Сены и здесь, в России, делавший со своей частью от самой границы с боями по 25—30 километров в сутки, дрогнул. Его рука, рука смелого, опытного и беспощадного боевого офицера, изменила ему: он выстрелил в зеленоглазого и промахнулся. В следующее мгновение приклад винтовки Аслан-бека раскроил ему череп.

Неожиданность на войне действует порой сильнее самого совершенного оружия. У немцев были автоматы, но они не успели воспользоваться своим преимуществом, потратив невозвратимые секунды на ожидание команды. И тут их накрыла волна красноармейской атаки, и преимущество превратилось в недостаток. В рукопашном бою с автоматами делать нечего. В несколько минут немцы были переколоты штыками, смяты, опрокинуты, а уцелевшие приведены в то состояние расстройств и незнания, что следует делать, которое парализует самого храброго солдата и заставляет забыть об оружии, находящемся у него в руках и единственно способном еще, если не сохранить, то продлить ему жизнь. Эсэсовская часть была полностью разгромлена, большинство солдат перебиты, остальные рассеяны, а около двадцати человек, в том числе два офицера, взяты в плен. Батальон Аслан-бека вернул позицию, потерянную накануне разбитым полком.

Но на войне бывает так, что успех местного значения, выпадающий из общего плана действий более крупных подразделений, может обернуться серьезной неудачей. Так чуть не получилось в данном случае. Командир эсэсовского полка, хотя и раздосадованный неудачей одного из своих батальонов, правильно оценил обстановку. Поскольку вслед за потерей занятой вчера позиции танковой атаки противника не последовало (а ее и не могло быть, так как советские части на этом участке танками не располагали, да к тому же успех батальона Нагиева оказался неожиданным и для его собственных командиров), штандартенфюрер понял, что имеет дело с отчаянной головой, командиром лихим и неустрашимым, но неопытным. Он тут же бросил две

роты левее пологой возвышенности, в то место, где между позициями 2-го русского батальона (которым командовал Аслан-бек) и третьего, располагавшегося правее его, образовался уступ, фактически разрыв.


Маневр удался — немцы глубоко вклинились в расположение полка и стали обтекать левый фланг 3-го батальона. Позицию же, только что захваченную русскими и сильно выдававшуюся из их общего расположения, немцы пока не атаковали. Их командир рассчитал, что если начатым движением удастся разгромить правый фланг русских или хотя бы отбросить его на северо-восток, тогда удачливый, но зарвавшийся большевистский батальон окажется отрезанным и с ним будет легко покончить.

Но у Аслан-бека была одна счастливая черта характера, которая, сложись судьба иначе, могла бы способствовать его росту как командира: он умел быстро преодолевать инерцию ранее принятого решения, встретившего веское опровержение. Едва он заметил продвижение немцев на своем правом фланге и определил, что оно развивается успешно, он понял всю серьезность угрозы. Ведь фронт полка был фактически уже разрезан надвое.

Обидно бросать только что захваченную позицию, но нельзя было терять ни минуты. Оставив два пулеметных расчета в качестве прикрытия, он круто развернул батальон левым плечом вперед и ударил во фланг вклинившимся немцам. Соседним русским батальоном командовал опытный и стойкий офицер. Он тоже вовремя уловил маневр Аслан-бека и отменил уже отданный своему батальону приказ отходить. Вместо этого он предпринял контратаку.

Теперь уже в тяжелом положении оказались немцы, зажатые в тиски. Но их командир тоже вовремя заметил угрозу и успел скоординировать отступление. В результате маневров, атак и контратак все остались на своих начальных позициях, потеряв, по существу попусту, немало людей.

Во всех этих действиях командир полка майор Кобзев участия фактически не принимал. Он только что принял командование, окончив перед тем ускоренные курсы переподготовки низшего и среднего командного состава. Это был неплохой штабист, офицер с достато-



чно широким кругозором, но не имевший никакого боевого опыта и потому неуверенный в себе. Попав на передовую, он растерялся и выпустил из рук управление вверенной ему частью, сразу брошенной в бой. Он только с замиранием сердца следил за действиями своих комбатов — 2 и 3, моля судьбу, чтоб все кончилось благополучно. Под стать ему был его начальник штаба, тоже не нюхавший пороху капитан, в недавнем прошлом преподаватель тактики в саратовском пехотном училище. Этот был назначен на столь ответственную должность за безупречные анкетные данные. И для него бой был первым, и он, как майор Кобозев, получив вечером донесение от командиров 2-го и 3-го батальонов, не знал, считать сегодняшнее дело удачным или нет, радоваться тому, что удалось удержать позиции, которые полк, прибыв на передовую, занял накануне, или огорчаться, что 2-й батальон, так лихо отбросивший эсэсовскую часть и даже захвативший пленных, в итоге был вынужден новую позицию оставить. Но в конце концов поразмыслив и обсудив положение здраво (каждый про себя думал в три раза больше того, что высказывал вслух), оба начальника пришли к выводу, что бой был удачным, и были правы, так как в те катастрофические недели стремительного отступления самый факт, что удалось удержать свои позиции в столкновении с эсэсовской частью, да еще пленных взять, следовало расценивать как несомненный успех.

Иначе думали в штабе дивизии. Там считали, что отбитую у неприятеля позицию можно было удержать, если бы на помощь оказавшемуся под угрозой обхода 3-му батальону с левого фланга, где целый день бездействовал 1-й батальон, прикрытый с фронта заболоченной низиной, подтянули одну-две роты.

У майора Кобозева потребовали объяснений. О том же, что артиллерийской поддержки ему не оказали, а танков у дивизии вообще нет, предпочли не вспоминать или сгоряча действительно забыли.

Майор Кобозев принадлежал к тому типу военных, которые жизни боятся больше, чем смерти. Они готовы умереть в бою, но испытывают ужас перед начальством. А у майора Кобозева к тому же была свежа в памяти чистка в Красной Армии в 37—38 гг., когда ему самому чудом удалось избежать очень больших непри-

ятностей. Давая объяснения, он всю вину свалил на командиров 2-го и 3-го батальонов. Комбат-3, по словам Кобозева, проявил безынициативность и нерешительность (эти определения пришли ему на язык раньше других потому, что подсознательно он относил их к самому себе), а комбат-2 — самоуправство, так как бросил захваченную позицию, не получив разрешения. О том, что этим маневром 2-го батальона были предотвращены общий прорыв позиций полка и окружение правого фланга, Кобозев умолчал. Впрочем, об этом говорить и не требовалось: картина действий полка была своевременно зафиксирована на дивизионной карте-трехверстке, и своими претензиями к майору Кобозеву командир дивизии хотел лишь подготовить почву к предстоящему отводу всей дивизии, который стал бы неизбежен, если бы немцы при новой атаке пустили в ход танки, чего вполне можно было ожидать: из штаба армии предупредили о подходе к противнику танковой колонны.

В общем для майора Кобозева все кончилось благополучно: он убыл в свою часть, отделавшись устным разносом. Но его слова о самоуправстве комбата-2 и об оставлении этим батальоном позиции без приказа не прошли мимо внимания начальника Особого отдела дивизии подполковника Чеботарева.

— А кто там у вас вторым батальоном командует? — спросил он комдива.

Любопытство контрразведчика было естественным, но фраза составлена так, будто дивизия являлась чем-то вроде личного имущества генерала и за все назначения в ней спрашивать следовало с него.

Генерал-майор Протасов, человек уже немолодой, тучный, наголо бритый по тогдашней манере генералов Красной Армии, служивший еще с гражданской войны, не поворачивая своего румяного лица с крутыми скулами и мощными желваками, ответил сухо:

— Вторым батальоном в этом полку командует капитан Нагиев. Отличный офицер. Орден за финскую кампанию имеет.

Его раздражал Чеботарев, присутствие которого мешало чувствовать себя единоличным начальником во вверенном ему подразделении и без колебания принимать решения, казавшиеся наиболее правильными и за

которые он один нес ответственность перед командованием.

Ссылку на правительственную награду и характеристику капитана Нагиева Чеботарев пропустил мимо ушей, зато насторожился при упоминании фамилии комбата.

— Он — что? Не русский? — спросил Чеботарев, наперед зная ответ и пуская мысль, как сторожевую собаку, по только что взятому следу.

— Чеченец, — ответил генерал с неудовольствием, потому что понимал, куда клонит контрразведчик. Тот слегка присвистнул, словно в долго собиравшейся им цепи не доставало всего одного звена и сейчас он его нашел.

— Вот оно что... — протянул он и замолчал, размышляя.

Только на прошлой неделе из Главного управления Военной контрразведки была получена сверхсекретная директива усилить наблюдение за военнослужащими уроженцами Северного Кавказа, особенно чеченцами и дагестанцами, среди которых отмечены частые случаи перехода на сторону неприятеля. В той неразберихе, которая сопутствовала первым неделям войны, при непрерывных, порой беспорядочных отступлениях, сопровождавшихся паникой и массовой сдачей в плен, не только трудно, но и невозможно было уследить за отдельными бойцами, да и за целыми подразделениями. А тут подворачивался такой удачный случай: фигура заметная, даже яркая (кавалер ордена Боевого Красного Знамени — шуточное ли дело!) и выявлен как... Чеботарев задумался, подыскивая подходящую формулировку. Она сразу не подбиралась, и он прервал себя: не в этом дело! Важно то, что он, подполковник Чеботарев, проявит бдительность и одним из первых отреагирует на директиву Главного управления.

У Чеботарева был немалый стаж работы в органах безопасности. Он начал службу в ОГПУ еще при Менжинском. Его направили туда с одного из московских заводов. Тогда, по призыву партии, стали пополняться ряды чекистов представителями столичного пролетариата.

Чеботарев уже почти забыл время, когда его, вчерашнего молодого рабочего, приводило в смущение то обстоятельство, что людей арестовывали зачастую не на



основании неопровержимых улик, не по вескому подозрению даже, а по тому, что называлось проявлением классового чутья и революционной бдительности. Конечно, многих брали зря, но как быть? Нельзя же из-за мягкотелости, свойственной только гнилым интеллигентам, упустить настоящего врага? Уж лучше прихватить лишних. Ничего не поделаешь, революционная эпоха: лес рубят — щепки летят.

В период массовых чисток 37—38 годов сантименты пришлось отбросить еще дальше. Для того, чтоб уцелеть самому, приходилось проявлять абсолютную беспощадность и безоглядное повиновение, потому что было ясно: не посадишь товарища, товарищ посадит тебя. Одновременно требовались гибкость, умение угадать, в какую сторону, на какую еще группу населения обрушится разящий меч карательных органов. Трудное это было дело, но Чеботареву удалось уцелеть и даже получить повышение. Но он прекрасно понимал, а больше инстинктом чувствовал, как непрочно положение сотрудника органов, находящегося на виду: один неверный шаг, одно неосторожное слово и сам окажешься там, куда послал сотни людей. Единственное, что могло помочь удержаться на плаву, это беспрестанное, деятельное проявление того, что на их языке называлось бдительностью. В основу был положен принцип: «лучше уничтожить тысячу невиновных, чем упустить одного виновного». А так как для существа, родившегося человеком, невозможно годами участвовать в истреблении себе подобных, зная, что почти никто из них не заслуживает той участи, на которую их обрекли, то в нем неизбежно должно было возникнуть сознание, если не справедливости, то хотя бы целесообразности деемого. Это сознание постепенно складывалось в Чеботареве и в других подобных ему и находило свое выражение в первую очередь во враждебности и подозрительности ко всем без исключения окружающим людям, даже к членам собственной семьи, на которых, если и не заводилось дело, то лишь потому, что в таком случае под подозрение попадал и сам.

Так что подозрение, возникшее у Чеботарева в отношении Аслан-бека Нагиева, не было наигранным или неискренним. В поведении комбата во время боя, по разумению Чеботарева, имелись действительно сомни-

тельные моменты и обстоятельства. Сомнительными они ему казались потому, что в военном деле Чеботарев ничего не смыслил и перспектива оказаться на передовой, под огнем противника, его ужасала.

После продолжительной паузы он сказал, медленно выговаривая слова тем значительным, не сулящим ничего хорошего, тоном, который, — он это по опыту знал, — так устрашающе действует на людей:

— Надо будет его вызвать сюда завтра. Побеседуем...

Генерал-майор Протасов был человек не злой и не лишенный чувства справедливости. Он понимал, что в действиях комбата-2 Нагиева не только нет ничего преступного или подозрительного, но что, наоборот, он действовал смело и находчиво, умело руководил своим батальоном и, сложись операция полка в целом успешно, его бы и к награде представить не грех. Но в генерале Протасове, хотя и в меньшей степени, чем в майоре Кобозеве, еще сидел ужас тридцать седьмого года, и для него гнев начальства, а тем более неудовольствие органов безопасности, были страшнее, чем смерть от немецкой пули. Он сейчас жалел, что при этой крысе (так многие боевые офицеры про себя или в разговоре с самыми близкими людьми называли контрразведчиков) высказал недовольство действиями полка Кобозева. Но сказанного не воротишь: эта ищейка уже взяла след. И все же Протасов нашел возможным, хотя и мягко, но возразить:

— Своевременно ли отзывать с передовой опытного и смелого командира? Ведь завтра фрицы наверняка опять полезут?

— Весьма своевременно, — многозначительно сказал, как отрезал, Чеботарев и тяжело уставился на генерала своими мутно-серыми, словно разбавленное молоко, глазами.

Протасов понял, что больше ни слова в защиту капитана Нагиева сказать нельзя, а то как бы самому не было худо. Оставалось надеяться, что может быть все ограничится одной, пусть крайне неприятной для капитана, беседой. Все-таки сейчас война, органы безопасности лютуют меньше, а боевые офицеры до зарезу нужны в действующей армии.

— Будет сделано, — ответил он коротко.

Аслан-бек узнал, что его вызывают в штаб дивизии около полудня, когда от командира полка на передовую добрался вестовой. День был на удивление тихий и в природе и в людях. Немцы почему-то не проявляли себя, и Аслан-бек решил использовать неожиданную передышку, чтоб лучше окопаться, провести вторую линию связи со штабом полка и восстановить нарушенную вчера с соседом справа. В дивизию, поскольку время его явки обусловлено не было, он решил отправиться ближе к вечеру, когда ожидать активности противника не приходилось.

Въехав в деревню Романовку на полковой бричке, Аслан-бек, не спрашивая ни у кого, направился к центру, который определил по колокольне со снятым крестом. Вид оскверненных церквей доставлял Аслан-беку какое-то горькое утешение: «И над своей верой надругались, не только над нашей», — думалось ему в эти минуты и на душе становилось легче. Сознание, что кто-то рядом страдает не меньше, чем ты, обычно приносит человеку облегчение: боль как бы делится пополам.

Как и можно было предположить, штаб дивизии разместился в довольно просторном, сложенном из кирпича и, не в пример почти всем остальным, крытом шифером доме, где в одной половине раньше помещалось правление здешнего колхоза, а в другой поселковый совет. Они были эвакуированы, так же как комендатура НКГБ, занимавшая соседний, тоже кирпичный дом. Теперь там находился Особый отдел дивизии.

Привязав к ограде лошадь, Аслан-бек поднялся по заскрипевшим под его тяжестью ступеням крыльца, как обычно привлекая своей мощной фигурой общее внимание. В сенях ему попался немолодой сержант с расстегнутым воротом гимнастерки и без пояса. При виде незнакомого капитана, имевшего весьма решительный вид, он отпрянул к стене и вытянулся. Аслан-бек, не выговаривая ему за непорядок в одежде, а только выразительно посмотрев на него своими круглыми, ястребиными глазами, спросил, где адъютант командира дивизии.

— Тута, товарищ капитан! — готовно ответил сержант, явно радуясь, что дело, видимо, обойдется. При этом он указал на дверь направо.

Шагнув через порог, Аслан-бек оказался в довольно просторной, чисто выбеленной комнате с портретами

Сталина и Ворошилова на противоположной стене. В углу Аслан-бек заметил миловидную толстушку с голубыми глазами, ямочками на щеках и белокурыми кудряшками перманента. Вид у нее был такой домашний и уютный, что казалось, она сейчас угостит чаем с булками и заведет патефон. Но, увы, девушка сидела за рацией, так как была радисткой штаба. Над ней стоял, диктуя что-то, стройный молодой лейтенант, подтянутый, как и подобает адъютанту командира дивизии.

Увидев младшего по званию, Аслан-бек на мгновение замешкался, меняя текст стереотипной фразы, и, опустив слова «по вашему приказанию», произнес:

— Командир 2-го батальона 324-го стрелкового полка капитан Нагиев.... — и немного подумав, добавил, уже не военным, а житейским тоном: — Меня вызывали.

Адъютант, юноша интеллигентный, из студентов, с любопытством взглянул на заполнившего собою чуть ли не всю переднюю часть комнаты рослого капитана с орденом Боевого Красного Знамени на груди. Втайне он сам мечтал о таком ордене, и вошедший капитан сразу вырос в его глазах. Поэтому более любезно, чем обычно разговаривают адъютанты генералов со строевыми офицерами, он переспросил:

— Капитан Нагиев? Вам надо зайти в Особый отдел. Это вон в той избе, — лейтенант — сама любезность — подошел к окну и показал рукой на бывшую комендатуру НКГБ.

— В Особый отдел? — удивился Аслан-бек.

— Да. Так мне приказано передать, — отчеканил лейтенант.

Он еще не успел привыкнуть к своему положению, не истрепал первой формы и, хотя никогда прежде не стремился к военной карьере, теперь получал удовлетворение от строгой и четкой регламентировки разговора, субординации, — тем более, что благодаря своей близости к начальству стоял отнюдь не на низшей ступени иерархической лестницы.

— К кому мне там? — не скрывая неудовольствия, спросил Аслан-бек, раздумывая, зачем бы он мог понадобиться контрразведчикам.

— К начальнику. Подполковнику Чеботареву, — ответил адъютант и, когда Аслан-бек, козырнув, направился к двери, добавил вдогонку, стараясь приветли-

востью смягчить смысл неприятного — он это видел — сообщения. — Только его сейчас нет. Вместе с командиром дивизии в часть уехали.

И тут же лейтенант мысленно упрекнул себя за болтливость: сколько раз им в училище объясняли, что в армии, тем более на передовой, не надо говорить ни одного лишнего слова, только самое необходимое. Но Аслан-бек возбуждал в двадцатилетнем лейтенанте, кроме любопытства, еще и почтение: он слышал, что этот кавказец (лейтенант не помнил, чеченец капитан или лезгин, а может быть, кабардинец? В общем что-то лермонтовское) в прошлом — чемпион по борьбе. А лейтенант дома и сам занимался борьбой, но результаты его были гораздо скромнее.

Аслан-бек вышел на улицу, которая в эти минуты была вся залита густо-янтарными лучами уже не жаркого солнца, тяжело оседавшего за дальний лесной массив, выглядевший сейчас совсем черным. Там проходила передовая, и этот отрезок ее, который почти невозможно было строго контролировать, причинял неисчислимые хлопоты и своим и противнику: вспыхивали перестрелки, гибли люди. А здесь, на широкой и пыльной деревенской улице, рождавшейся из полей и уходившей в поля же, было тихо и мирно, доносилось мычание недоенной коровы, тепло золотились в предвечернем свете ажурные кроны берез.

Аслан-бек сидел на лавочке и, внимая этой убаюкивающей тишине, растворялся душою в покое. Подобного он уже давно не испытывал. Он думал о родном ауле, который остро напомнило ему раздавшееся совсем рядом бляение овцы. Почему-то пришло в голову, что, может быть, это последний такой блаженный вечер в его жизни, неведомо за что подаренный ему Аллахом. И, словно чтоб сделать эту догадку более убедительной, с северо-запада, из-за леса, донесся напоминающий раскаты грома гул дальней канонады, казавшийся в эти минуты неуместным и даже кощунственным. Мир, владевший Аслан-беком, был испугнут, как птица, в которую бросили камнем. Он отлетел и больше уже не возвращался. А вместо него в душу, не терпящую вакуума, скользко холодея ее, вползала тревога, тем более угнетающая, чем менее понятной было ее происхождение.

Вырванный из сладостного плена неясных дум и воспоминаний Аслан-бек огляделся. Солнце уже зашло, небо сгустилось и приблизилось и лишь на западе сохранило свои теплые медно-багровые тона.

У штаба и у Особого отдела сменились часовые, и Аслан-беку бросилось в глаза, что у штаба часовой стоял с винтовкой, а у Особого отдела — с автоматом. А редки были тогда автоматы в Красной Армии! Снова заблеяла овца и, заглянув через забор, Аслан-бек увидел ее. Она была совершенно черная, и это почему-то было неприятно. Он даже поежился.

Комдив вернулся еще через полчаса, когда почти совсем уже стемнело и, кивнув ставшему во фронт и приложившему руку к козырьку очень рослому и широкоплечему офицеру, молча, не прощаясь с Чеботаревым, поднялся по ступенькам крыльца. Коротким «нет» он ответил на вопрос особиста, не хочет ли присутствовать при снятии показаний с капитана Нагиева. Своим холодным отказом генерал стремился показать Чеботареву, что не одобряет его затеи и не согласен с его мнением, будто вчерашние действия комбата внушают подозрения.

«Сам бы попробовал командовать, когда на тебя прут эсэсовцы с автоматами, понял бы, чего стоило отбить атаку, да еще их же окопы захватить!» — думал генерал, входя в помещение штаба. «Затеял эту канитель, сам и разговаривай. Ничего у тебя не выйдет. Сейчас вам не тридцать седьмой год!»

Подполковник Чеботарев между тем, не заходя в штаб, направился прямо к себе в Особый отдел. Проходя мимо продолжавшего стоять и вопросительно смотревшего на него капитана, он сказал себе: «Наверное, тот самый. Экий верзила!» И так как капитан испытующе смотрел на него, Чеботарев приостановился и спросил:

— Вы ко мне?

Хотя Аслан-бек не знал в лицо начальника Особого отдела, подполковник не мог быть никем другим, и потому он ответил:

— Так точно.

— Подождите здесь. Вас вызовут, — сказал сухо Чеботарев, уже попадая в тон, каким он разговаривал с теми, кто от него зависел.

В Отделе из своих сотрудников — офицеров Чеботарев никого не застал. Один уехал в штаб армии с донесениями и должен вернуться только утром, двое других, видимо, ужинали по месту постоа, а жили они в хате на околице села. Только у крыльца стоял часовой и в сенях, как и полагалось, нес службу дежурный вестовой. Пройдя к себе, Чеботарев снял фуражку, отер вспотевший лоб и запыленное от долгой дороги лицо несвежим платком и уселся за свой рабочий стол, обдумывая предстоящий допрос. Он намеренно не спешил, ожидая, когда совсем стемнеет, потому что, если придется арестовать капитана, то лучше провести его через двор в КПЗ так, чтоб никто из посторонних не заметил: не нужно давать повод для лишних разговоров, тем более в такое время. Ведь двор здесь не обнесен той высокой, глухой стеной, за которой обычно разворачивалась деятельность подполковника Чеботарева в доброе, мирное время.

— Пинчук! — позвал он наконец вестового. — Пинчук!

Никто не отозвался, никто не появился в проеме двери. Чеботарев покачал головой и вполголоса выругался. Опять ляды точит с часовым. Немытая деревня, черт поганый! Надо будет вкатить ему пару ночных дежурств вне очереди.

Чеботарев встал, прихрамывая (новые сапоги еще не обмялись и правый натирал ногу) обошел стол и выглянул в сени. Так и есть: стоит на крыльце, благодушествует. Надо его обратно на передовую, ничего в службе не смыслит. Сюда в тыл, на штабные харчи охотников всегда подобрать можно.

— Пинчук, мать твою...! — рявкнул Чеботарев, но не слишком громко, чтоб на улице не услышали.

Вестовой — приземистый малый, губастый и курносый — вздрогнул и, словно отпущенная пружина, резко повернулся на сто восемьдесят градусов.

— Слушаю, товарищ полковник!

То, что вестовой с испугу повысил его в чине, Чеботарев принял как должное, а вот что он никак не может привыкнуть выговаривать букву «о» в первом слоге, вызвало у него усмешку. Злобы он уже не испытывал, ей дала выход матерщина.

— Ты вот что, Пинчук, — Чеботарев говорил вполне миролюбиво, даже как бы беседуя. — Там, у штаба, на лавочке сидит капитан. Здоровый такой. Нагиев фамилия. Так вот ступай, скажи, чтоб шел сюда. Я жду его.

Пинчук двинулся было выполнять приказание, но начальник остановил его:

— А ну, повтори фамилию!

Пинчук пробормотал что-то нечленораздельное и, сбившись, замолчал.

«Нет. Никуда не годится. Деревенщина», — еще раз подумал Чеботарев. «Надо посмышленнее хлопцев подобрать...» Он по слогам произнес фамилию и заставил Пинчука повторить два раза.

— Да не перепутай. Высокий такой. Здоровый. Понял?

— Так точно. Понял!

Чеботарев вернулся в комнату, служившую ему кабинетом, обошел стол и уселся. Он еще раз пересмотрел вопросы, которые набросал на листе бумаги.

В сенях послышалось движение, дверь распахнулась, и через порог ступил капитан Нагиев. Он сделал два шага, остановился, приложил руку к козырьку и отпортовал.

«По-русски говорит хорошо, но акцент чувствуется», — по давно выработавшейся профессиональной привычке учитывать всякие мелочи отметил про себя Чеботарев и еще раз подумал, оглядывая мощную фигуру Аслан-бека: «Ну и здоров же!» И ему вдруг пришло в голову, что не лишне было бы, если б в комнате присутствовал кто-нибудь из помощников, а то и оба. А, впрочем, к чему? За дверью вестовой, у крыльца боец с автоматом...

— Предъявите удостоверение, капитан! — сухо, с теми недружелюбными нотками в голосе, которые он сам уже давно перестал замечать, произнес Чеботарев.

Аслан-бек отстегнул пуговицу и, вынув из нагрудного кармана свое офицерское удостоверение, положил на стол перед подполковником. Чеботарев взял его в руки и стал придирчиво рассматривать, хотя сомнений в подлинности документа не испытывал. Но он по опыту знал, как подавляет психику человека такая вот пристрастная проверка, насколько делает податливее, ли-



шая уверенности в себе. С этой же целью он не пригласил капитана сесть, хотя разговор предстоял долгий. Когда один сидит, а другой перед ним стоит, этот последний начинает чувствовать свою неполноценность, свою подчиненность и зависимость от сидящего, что Чеботареву и требовалось.

Но в случае с Аслан-беком такая схема была неэффективной. Глядя с высоты своего роста на сидящего перед ним невзрачного сорокалетнего подполковника-особиста, он начинал раздражаться. «Чего он уставился в мое удостоверение? Что он в нем ищет? Принюхивается, точно крыса...» Склонившийся над столом Чеботарев со своим вытянутым книзу длинным, прямым носом, тоже вытянутыми, словно он дует на что-то, тонкими губами и покатым лбом и впрямь был похож в профиль на крысу, и Аслан-бек, вспомнив, что он принадлежит к тому самому ведомству, которое еще недавно свирепствовало и на гражданке и в армии, почувствовал, как в нем закипает еле сдерживаемое раздражение, почти ненависть.

Чеботарев наконец кончил изучать удостоверение и уставился в лицо Аслан-беку своими водянистыми глазами, в которых, однако, сейчас различались сверлящие угольки зрачков.

— Вам предстоит дать объяснение в связи со вчерашними действиями вверенного вам батальона, — отрывисто чеканя слова, выговорил Чеботарев.

Некоторые нюансы русского языка ускользали от Аслан-бека, и потому он не уловил угрожающего смысла в словах подполковника, а понял их буквально, то есть, что сейчас надо еще раз доложить о вчерашнем бое, хотя к письменному донесению, отправленному вчера же вечером в штаб полка, добавить ему было нечего. Удивляло лишь то, что докладывать приходилось не в штабе дивизии, а в Особом отделе, но это беспокойства не вызывало, только недоумение. Если б Аслан-бек был опытнее и у него было время задуматься, он обратил бы внимание на то, что удостоверение ему не вернули. Оно продолжало лежать на столе перед подполковником.

Коротко и не очень складно, потому что не чувствовал внутренней необходимости в этом, Аслан-бек повторил устно то, о чем писал в донесении и что безус-

ловно знал сидевший перед ним несимпатичный подполковник.

Самомнение было чуждо Аслан-беку, но он знал себе цену и был уверен не только в том, что действовал накануне совершенно правильно и с наибольшей пользой для операции в целом, но и что на его месте не всякий справился бы с теми острыми ситуациями, которые так неожиданно возникали вчера. И если бы не новое отношение к своей жизни, которое пришло к нему в последние месяцы, он безусловно надеялся бы на благодарность начальства или даже награду. Но теперь ему ничего не надо было от них, он хотел лишь, чтоб ему отдавали должное, потому что он знал, что воюет хорошо. Если ты рожден настоящим мужчиной, то не можешь воевать плохо, за кого бы ни сражался.

Поэтому так возмущали Аслан-бека мелочные, придирчивые вопросы подполковника, свидетельствовавшие отнюдь не о честном стремлении уяснить себе истинную картину вчерашнего боя, а лишь о недоброжелательстве и полном непонимании военного дела. Это было Аслан-беку совершенно ясно.

«Чего ты хочешь, тыловая крыса? Куда гнешь? Ведь ты же ни бельмеса не смыслишь во всем этом! Ты в окопе-то хоть когда-нибудь сидел?» — презрительно думал Аслан-бек, и ему все труднее было удерживать в себе клокотавший гнев.

— Каким образом к моменту штыковой атаки вы оказались так близко от неприятеля? — задал очередной вопрос Чеботарев.

«Что, и это плохо?» — про себя подумал Аслан-бек, но вслух сказал только:

— Я выдвинул батальон вперед, почти к самому гребню.

— И оставили бойцов без всякого прикрытия?

— Неприятель не знал, что мы выдвинулись вперед.

— А если б узнал?

Аслан-бек, почти не скрывая своих чувств, пожал плечами и не ответил ничего. Разве ему объяснишь, что снаряды, падавшие далеко за спиной, уже не представляли опасности? А Чеботарев продолжал:

— Так значит вы без приказа бросили укрепленную позицию?

— Я действовал по обстановке. Окопы у нас были неполного профиля. Батальон нес потери от артобстрела. Они хорошо пристрелялись.

— Почему же неполного профиля были окопы?

— Мы их такими получили.

— Надо было окопаться.

— А где время было взять?

Чеботарев, словно не слыша объяснений, продолжал:

— И второй раз вы без приказа оставили позицию, только что захваченную у неприятеля.

— Так я же не в тыл их увел, а бросил в бой. Противник ударил нам в стык. Третьему батальону грозило окружение. Захваченную позицию все равно невозможно было удержать — наша артиллерия молчала, а так я атаковал прорвавшегося противника отсюда, третий батальон оттуда, и немцам пришлось отступить, — говорил Аслан-бек, показывая для наглядности руками, как было дело.

Все эти доводы не убедили подполковника Чеботарева не потому, что были сами по себе не верны, а потому, что его мало беспокоил результат боя, а беспокоило только, удастся ли набрать достаточно материала, чтоб арестовать строптивного капитана из кавказских нацменов и тем оперативно отреагировать на секретную директиву Главного Управления. И сейчас, перебрав в уме накопленные данные так, как за годы работы в органах безопасности он привык это делать, то есть отмечая все, что говорит в пользу допрашиваемого, и тщательно подбирая, соединяя в одну кучу и гипертрофируя все, что свидетельствует против него, Чеботарев пришел к выводу, что оснований для ареста достаточно. Комдив будет злиться, ну и черт с ним! Его и самого-то не мешает прощупать. Но это попозже, когда удастся остановить фрицев.

И окончательно приняв решение, Чеботарев поднял свой мутный взгляд на Аслан-бека и произнес медленно и значительно:

— Это не имеет значения. Вы дважды без приказа оставили позицию. — Он сделал небольшую паузу и добавил: — Капитан Нагиев, сдайте личное оружие!

Словно что-то взорвалось в груди Аслан-бека: Арест! Бесчестие! Сдать оружие?.. Ну это уж положим!

Вот та минута, которая рано или поздно должна была наступить...

Аслан-бек почувствовал себя совершенно спокойным и точно знающим, что делать. Смотря в упор на контрразведчика своим недвижимо-круглым взглядом, Аслан-бек вынул из кобуры револьвер, но вместо того, чтоб отстегнуть, выстрелил ему прямо в лоб. Смятение, ужас, мольба в последнее мгновение мелькнули в глазах Чеботарева и в них застыли навечно.

Голова его дернулась сперва назад, потом упала на грудь, и он лбом ткнулся в стол.

Аслан-бек огляделся и прислушался. За дверью не слышно было шагов — видимо, усилившаяся дальняя канонада поглотила звук выстрела. Он двинулся было к выходу, но, вспомнив, вернулся, обошел стол и вынул из кобуры мертвого револьвер — пригодится. Потом, заметив свое офицерское удостоверение, взял его в руки, повертел, усмехнулся и хотел было швырнуть в угол, но передумал и засунул в тот же нагрудный карман, из которого вынул полчаса тому назад. После этого он спокойно вышел в сени, прикрыл за собой дверь и ступил на крыльцо. Здесь Пинчук вел неторопливую беседу с молодым бойцом-часовым. Они оба явно не слышали выстрела.

Аслан-бек, чтоб не вызвать подозрения, постоял минуту-другую, перекинулся с вестовым несколькими фразами и не спеша направился по тонувшей в непроглядной темноте улице в сторону, противоположную той, откуда приехал. «Эх, лошадь до утра без корма, без воды простоят!» — мелькнула в голове неожиданная мысль и тотчас исчезла. Внимание Аслан-бека переключилось на другое. За ночь ему предстояло добраться до того лесного массива, который виделся черным в золотых лучах закатного солнца.

В том лесу и теряется надолго след Аслан-бека Нагиева.

#### Глава 4

Над аулом Ведено высоко в небе стояла полная луна, изливавшая на землю свои призрачно-золотистые потоки. В этом освещении нереальными казались замершие в ночном безветрии деревья, приземистые

домики без единого огонька в окнах и широкая, деревенская улица с убитой пылью, чуть серебрившейся в этом неверном освещении. И Аслан-беку на мгновение показалось, что он видит все во сне и что никогда не оживут эти палисадники, не побегут с криками и смехом в школу ребятишки, не побредет к пастбищу стадо коров, наполняя тупым мычанием всю округу.

Много месяцев не был в родных местах Аслан-бек. Он добирался сюда окольными путями и сейчас вышел к Ведено со стороны аула Дарго: шел лесами, переваливая через горные гряды, переходил вброд урчащие, словно проснувшийся гепард, стремительные речки с хрустально-звонящей, колюче-холодной водой, почти ощупью, почти наугад следовал еле различимыми, одним охотникам понятными тропами. И сейчас, перебираясь по шаткому мостику об одной доске, перекинутому через замелевшую в это бедное дождями лето речку Хулхулау, он думал, что выбрал неудачный период для своего прихода — полнолуние. Стоило подождать еще немного, и тогда можно было бы явиться сюда, меньше рискуя, — ночи будут темные и более длинные. Но ждать было нельзя, потому что не ждало время. Для успеха его замысла — самое главное не опоздать.

В своем ауле — Старые Атаги — Аслан-бек показаться пока не мог. Там его знала каждая собака, там находилась комендатура НКГБ. Аул Ведено был удобнее во многих отношениях: подальше от центра, от бдительного ока тех, с кем разговор предстоит, но сейчас время еще не созрело. Тут ближе к Дагестану: первый лезгинский аул Гагантлы в каких-нибудь двадцати километрах, да и до ингушей — рукой подать.

В Ведено проживал кунак его отца — Хасмагомед Абакаров, человек уважаемый, мужественный и твердый. У него рассчитывал получить пока приют Аслан-бек, благо жил Хасмагомед-ага на самом краю аула, соседствуя с давно опустевшим, никак не используемым дворцом имама Шамиля. А из него, как Аслан-бек доподлинно знал, подземный ход вел к бастиону, служившему воинам имама прекрасным наблюдательным и опорным пунктом. Под этим бастионом и стоял как раз Аслан-бек, перейдя мост.

За спиной тихо бормотала речка, будто боялась помешать более сильным шумом покою людей. Вскараб-

каться по отвесной круче для Аслан-бека не составило большого труда, и он оказался на плоской кровле бастиона, частично покрытой ссыпавшейся в разное время землей и даже поросшей травой и мелкими кустами. Отсюда, ухватившись за корневища и подтянувшись на руках, он выбрался на дорогу. Где-то вдали, почуяв человека, залаяла собака, но вскоре замолкла. И снова тишина, пропитанная лишь пением цикад, что предвещало на завтра жару.

Шел июль тысяча девятьсот сорок второго года.

Убедившись, что на улице никого нет, Аслан-бек быстро пересек ее и оказался в тени ворот ближайшего дома. Это как раз и был тот дом, куда он направлялся. Он попробовал открыть калитку, но она не поддавалась, запертая изнутри на засов. Тогда, еще раз оглянувшись по сторонам, Аслан-бек перелез через забор и тихонько постучал в окно. Он не знал точно, кто сейчас дома из семейства Абакаровых. Сыновья, наверное, в армии, но что дома сам хозяин, ему было известно. На стук никто не откликнулся, и тогда, подождав немного, Аслан-бек постучал вторично так же тихо. Почти тотчас за стеклом возник силуэт. Аслан-бек узнал его по седой бороде клином. Старик, прильнув к стеклу, напряженно всматривался в темноту, но тоже видел лишь силуэт. Тогда, открыв окно и слегка высунувшись, он негромко спросил:

— Кто здесь?

— Хасмагомед-ага, это я, Аслан-бек Нагиев, — таким же пониженным голосом ответил пришедший.

Для старика появление ночного посетителя не явилось неожиданностью.

— Аслан-бек? Иди к крыльцу, я сейчас отопру.

В первой комнате тихо спали женщины. Они или не проснулись, или не подали виду, что слышат, как от двери к двери, осторожно ступая, прошли две пары мужских ног. Лишь ребенок, должно быть, сын старшего из братьев Абакаровых Абузара, пробормотал что-то сквозь сон и тут же замолк.

— Садись, Аслан-бек, — указал Хасмагомед на стул в углу, за платяным шкафом, а сам, подойдя к окну, закрыл его на шпингалет и задвинул занавеску. От Аслан-бека не укрылось, что прежде чем сделать это, старик снова высунулся и посмотрел в обе стороны. По-

сле этого Хасмагомед подошел к тахте, на которой спал, и уселся. Теперь и Аслан-бек опустился на указанное ему место.

В комнате было душно и пот выступил на лбу Аслан-бека. Он смахнул его пальцами правой руки. Помолчали. Хозяину, хотя он и ожидал этого посещения, нужно было время, чтобы освоиться с положением. Аслан-бек же, как младший по возрасту, ждал, чтобы с ним заговорили. Да и для него эти секунды молчания были кстати: разговор предстоял важный.

— С чем пожаловал, Аслан-бек? — учтиво поинтересовался наконец Хасмагомед, поглаживая костистой старческой рукой бороду и пытливо вглядываясь сквозь темноту в осунувшееся лицо гостя, на котором над запавшими щеками нависали жесткие крутые скулы. Просачивающийся сквозь тюлевую занавеску лунный луч усиливал контрасты света и тени в комнате, и оттого лицо гостя казалось высеченным из камня.

— Дело есть, — коротко и не сразу ответил Аслан-бек.

Хасмагомед одной рукой продолжал поглаживать свою белую, словно крыло лебедя, бороду, а другой удерживал янтарные четки, но не перебирал их. В общих чертах он знал, с чем явился Аслан-бек, — от него две недели тому назад был человек, — но хотел, чтобы гость сам начал разговор. Время смутное, не мешает соблюдать осторожность.

Аслан-бек подождал немного и, видя, что хозяин не собирается задавать новых вопросов, спросил сам:

— Что, как у вас тут теперь, Хасмагомед-ага?

Вопрос носил столь обширный и неопределенный характер, что собеседник волен был придать разговору любое направление.

— Как у нас? — Хасмагомед перестал поглаживать бороду. Теперь четки ожили в его руках, и Аслан-бек, глаза которого тоже освоились с темнотой, следил, как янтарины, словно крупные капли, падают одна за другой, соскальзывая вниз по нитке. — Что ж, сам понимаешь: война. Мужчин мало.

«Так, один ответ уже есть, — подумал Аслан-бек. — Умный старик».

Но нужно было узнать многое другое, и Аслан-

бек собрался уже задать новый вопрос, как Хасмагомед сам заговорил, будто и не было длинной паузы.

— Кого в армию забрали, кто в другую сторону ушел...

Вот это было важно. Что в Верхней Чечне дело обстоит так, Аслан-бек убедился лично, он ведь оттуда пришел, аул же Ведено, хотя и лежит в горах, но не высоко и относится скорее к Нижней Чечне. Отсюда до равнины рукой подать, сюда легко доставали шупальца властей.

— Ищут их? — спросил Аслан-бек.

Старик поморщился и сделал небрежный жест рукой:

— Да не очень. Не до того и м теперь.

Аслан-бек усмехнулся: «Уж что верно, то верно — не до того. Сами же говорят: не до жиру, быть бы живу».

— А комендатура действует?

Опять пренебрежительный жест рукой и слова:

— Людей у них здесь почти никого нет («Так, так, так — вот это важно было узнать»). Всех на фронт гонят. Надо немцев остановить.

Голос старика звучал странно. Аслан-бек приглядывался к нему, но точно определить не мог: улыбается он, что ли? Во всяком случае пора переступить через барьер:

— Не остановят... Ростов не сегодня-завтра возьмут. К Сталинграду подходят.

— Ростов не близко, — как бы с сомнением покачал головой Хасмагомед.

— Это если пешком не близко. А у них танки. Возьмут Ростов — через месяц здесь будут.

— Заранее ничего сказать нельзя...

Старик продолжал выражать сомнение, во всяком случае на словах... Снова помолчали. Потом все так же, покачивая головой из стороны в сторону, как бы про себя, как бы отвечая на собственные мысли, Хасмагомед произнес:

— Ай, ай, ай... Какая сила была!

И опять непонятно было, искренен его жалостливый тон или нет.

— На всякую силу есть еще большая сила, и на



каждую неправду найдется у Аллаха возмездие. Так говорит пророк.

Аслан-бек не был уверен, что именно так сказано в Коране, но что смысл этих слов соответствует духу священной книги — не сомневался.

— Да, сила еще бóльшая, — задумчиво отозвался Хасмагомед.

Теперь и он перешагнул барьер; оба стояли рядом.

— Заканчивается их власть. Нам надо о себе подумать. — Аслан-бек проговорил эти слова с волнением: разговор подошел к самому главному, к тому, ради чего он рисковал больше, чем головой, появляясь в этих, хорошо контролируемых властью местах. Он даже встал, сам не замечая этого, но встретив удивленный и обеспокоенный взгляд хозяина, опомнился и сел.

— Что же нужно делать? — спросил Хасмагомед с надеждой в голосе, так, будто это он был младшим из двух и беседовал с умудренным жизнью и опытом старцем. Но он даже не заметил этой смены ролей, а если б и заметил, не взял бы вопроса обратно. Такую силу чувствовал он в своем молодом собеседнике — и моральную и физическую, — такую решимость и жажду действий.

— Людей надо собрать. Оружие им дать...

Хасмагомед молчал и веря и не веря: неужели настал момент? Потом заговорил с сомнением:

— Что же нам — помогать немцам, что ли? Они ведь тоже нас в бараний рог скрутят.

— Какое там помогать! Видел я их. Видел, что они делают. Нет, нам они не нужны...

— Тогда что же?

— На себя рассчитывать надо. Когда они подойдут, у нас своя власть должна быть, своя сила. Тогда уважать будут. А то получится, как на Украине. Что они там делают! Это я своими глазами видел.

— Но оружие где возьмешь? У кого старый револьвер, у кого винтовка закопана. Разве это оружие?

— Оружия много есть. Его взять надо.

— Взять... — словно эхо отозвался Хасмагомед. — Разве это легко?

— А когда что в жизни легко было?

И снова получалась рокировка: последние слова принадлежали Аслан-беку, а звучали как будто их.

произнес убеленный сединами старец. И Хасмагомед понял, что каков бы ни был его ответ, у Аслан-бека все уже решено. Как бы давая дополнительное подтверждение такому выводу, Аслан-бек заговорил уже вполне будничным деловым тоном.

— У вас здесь все-таки сколько мужчин осталось?

Старик подумал немного и ответил:

— Мужчины-то есть, да не все годятся.

— Правда ваша, Хасмагомед-ага. Годятся не все, но все пригодятся. Не на это, так на то. Дела много будет. Всем хватит.

И правда, хватило.

Нападение на склад учебного батальона в Чири-Юрте прошло успешно. Часовых сняли так, что они и не пикнули. Удалось захватить двадцать автоматов и соответствующее количество патронов к ним.

И вдруг на третий день арестовали Салмана Туркаева. Он, хотя непосредственного участия в экспроприации не принимал, знал, что она готовится и кое в чем помогал. Некоторые участники были ему известны. Конечно, Салман Туркаев человек мужественный и честный, его угрозами и побоями не возьмешь, ну а если пытаться начнут? Кто может поручиться, что он выдержит? А что, не добившись от него нужных сведений иными способами, они применят самые крайние средства, сомнений не было. Туркаева надо было выручать и как можно скорее.

Наблюдавшие за чири-юртской комендатурой НКГБ сообщили, что Салман пока еще там, сидит в КПЗ под усиленной охраной.

Услышав последние слова, Аслан-бек усмехнулся:

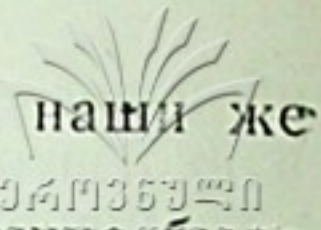
— Усиленная охрана! Сколько их там всего человек?

— Чекистов двое: начальник и заместитель. А солдат несколько человек было.

— Все русские?

— Чекисты — русские, солдаты — как придется.

— Принесший эти сведения Камиль Эдилов, сам житель Чири-Юрта — смуглый, низкорослый человек лет пятидесяти, помолчал. Он колебался: говорить до конца или не надо? Но встретив твердый, неподвижный взгляд Аслан-бека, — дрогнул и решил ничего не утаи-



вать: — Солдат там теперь нет. Салмана наши же стражники охраняют...

И все же он опять осекся. Очень уж страшно было договорить до конца, признаться, что его собственный племянник — один из охранников. Аслан-бек все смотрел и смотрел ему прямо в глаза своим неподвижным, в самое нутро проникающим взглядом и наконец, почти не размыкая губ, произнес:

— А племянник твой где? — и так как племянников было несколько, уточнил, — Хасан, спрашиваю, Хасан где?

Сердце у Эдилова оборвалось: знает! Все он знает, везде у него свои люди. Эдилов закрыл глаза и съежился: хотелось стать меньше, прикрыться хотя бы собственными веками от этого непреклонного взгляда, который и притягивает и ужасает одновременно. Нет, лгать ему нельзя, это страшнее. Эдилов вновь открыл глаза и уже более спокойно встретил взгляд Аслан-бека.

— Хасан дома. Он у них стражником служит. Но не суди его строго, ага. Обоих его старших братьев сразу на войну забрали. Где они, что с ними — неизвестно. А дома мать—старуха, больная, беспомощная. Что ему было делать? Чтоб не идти в армию, в стражники пошел и вот... — Эдилов все-таки не договорил до самого конца, только рукой горестно махнул.

— Судить я его не могу, я не имам, — ответил Аслан-бек спокойно, сам не зная, что дальше говорить, как поступить. И вдруг в свойственной ему манере принял неожиданное решение, в корне менявшее то, что было заранее обдумано. — Сам понимаешь, Камиль, не туда он ступил. Мы — здесь, он — там. — Аслан-бек сделал паузу и обернулся на двух своих помощников, присутствовавших при разговоре. Те встали и вышли из комнаты. Аслан-бек продолжил: — Но ему еще не поздно... Сколько ему лет?

— Девятнадцатый пошел.

— В мечеть ходит?

— У нас нет мечети, Аслан-бек.

— Да, правда... комсомолец?

— Иначе нельзя, — виновато развел руками Эдилов.

— Можно...

Установилось тягостное молчание. Эдилов боялся

за племянника, за его мать, свою старшую сестру. Аслан-бек же мучительно размышлял: что делать с этим молокососом, если он не согласится? Ведь сам говорю, что предателям не будет пощады, а вот, при первом же случае — колебания. Трудно поднять руку на своего соплеменника.

— Послушай, Камиль. У этого, твоего... — Аслан-бек не хотел вновь говорить «племянника», так как уважал Эдилова и считал, что такое родство приносит ему бесчестие, — у Хасана здесь что-нибудь есть? — Аслан-бек постучал себя пальцем по лбу.

Эдилов не понял и вопросительно посмотрел на Аслан-бека.

— Ну да, вот здесь, — подтвердил тот нетерпеливо и снова показал на голову.

— Парень он смысленый, — поняв, обрадованно произнес Эдилов.

— Ну тогда пускай подумает. Еще не поздно. Только думать быстро надо.

Опять мысль Аслан-бека не сразу дошла до Эдилова. Он соображал. Ах, вот что! Хвала Аллаху, есть кажется выход для Хасана!

Аслан-бек молчал, он ждал, чтоб заговорил Камиль. Это он должен выразить вслух ту мысль, которая носилась сейчас в воздухе, только тогда можно будет поверить в его искренность. Потому что выскажи ее сам Аслан-бек, у Эдилова может не хватить духу отвергнуть и в то же время не будет уверенности, что он действительно выполнит свою нелегкую и рискованную для всех миссию. И Эдилов понимал это и потому высказался, хотя с осторожностью, но недвусмысленно:

— Дай мне два дня, Аслан-бек, и я уверен, что принесу тебе ответ, которого ты ждешь.

— Два дня дать не могу. Салмана взяли позавчера, его в любой момент могут увезти в Грозный, и тогда плохо... Удивительно, что до сих пор не увезли. Наверное, транспорта нету.

— Тогда мне надо сейчас же возвращаться, иначе не успею.

— Правильно. Ступай, не теряй времени. Конь у тебя хороший?

— Да.

— Тем лучше. С тобой наш человек отправится. Ему передашь ответ.

— Да, но как же он?..

— Это уж моя забота. Теперь слушай внимательно и не перепутай. Садись ближе!

Эдилов придвинул свой стул к Аслан-беку, и тот приглушенным голосом передал инструкции для Хасана. Хотя юношу еще предстояло убедить, Аслан-бек не сомневался, что тот согласится. Да и выхода у него не было: лучше любой риск, чем смерть от своих.

Уже на пороге Эдилов задержался и задал важный, но только сейчас пришедший ему в голову вопрос:

— Как он будет знать, что человек от тебя?

— Ему скажут: «Имам вернулся». Если он готов, пусть ответит: «Газават».

«Если так не ответит — его тут же уберут», — мысленно продолжил Аслан-бек, и ему вдруг стало жаль этого запутавшегося на жизненных тропах, никогда не виденного им юношу, которому столько же лет, сколько младшему брату Аслан-бека — Юсупу, тяжело больному, почти не встающему с постели. Навестить его Аслан-беку никак не удавалось.

«А если он ответит «Газават» и предаст? — выплыл таившийся в нижних слоях сознания, но непрерывно ощущаемый вопрос. Нет, вряд ли, потому что тогда его тоже убьют, но позже, и он этого не может не понимать.

Операцию осуществляли шесть человек во главе с Аслан-беком.

Комендатура НКГБ находилась в кирпичном одноэтажном доме того же типа, что другие дома в ауле, но побольше и с глухой, двухметровой стеной, огораживающей двор, со стороны которого вплотную к дому примыкала другая постройка, тоже кирпичная — КПЗ. Камер было две и небольшое помещение для караула, через которое только и можно было проникнуть снаружи в разделявший камеры коридорчик. Правда, в него можно было попасть также из коридора комендатуры, но та дверь, тяжелая и массивная, была всегда заперта да еще закладывалась изнутри тяжелым железным болтом.

Наблюдавшие сообщили, что Туркаева стерегут

усиленно: один стражник все время находится в караульном помещении, пост второго — под окном, во дворе. До полуночи в комендатуре находятся оба начальника и заместитель. Раньше они к этому времени уходили, но последние две ночи в одном из кабинетов почти до утра горит свет.

«Наверное, допрашивают Салмана», — подумал Аслан-бек, но вслух не сказал ничего. Надо спешить.

План Аслан-бека был прост: через полчаса после того, как начальник и его заместитель уйдут, Хасан в форме и с оружием — если только он сам не будет дежурить в эту ночь — явится в караульное помещение, объяснив, что получил соответствующее приказание об усилении охраны. Через десять минут после этого Аслан-бек со стороны реки перелезет через стену — этот участок с того места, где стражник несет наружную охрану КПЗ не виден — и, выждав, когда тот подойдет к углу дома, — выскочит и нападет на него. Как только с этим будет покончено, трое других участников операции перелезут через стену с другой стороны и вместе с Аслан-беком вернутся в караульное помещение. Задача Хасана состоит в том, чтоб помешать второму охраннику пустить в ход свой автомат. Оставшиеся снаружи пятый и шестой участники из двух разных укрытий будут прикрывать операцию и обеспечат отход всей группы вместе с Салманом Туркаевым.

На встречу с Хасаном пошел сам Аслан-бек: он хотел составить личное впечатление об этом пареньке. Ведь нельзя было исключить возможность, что он окажется предателем и приведет за собой хвост. В таком случае он будет немедленно ликвидирован, а такое решение должен принимать главный. Не пристало командиру перекладывать ответственность на подчиненных.

Когда Аслан-бек тихо постучал в дверь дома, где была назначена встреча, изнутри сразу отозвались:

— Кто там?

— Имам вернулся, — внятно произнес Аслан-бек.

Дверь бесшумно распахнулась.

— Газават! — слышался отзыв, и темная невысокая фигура отступила вбок, чтоб пропустить пришедшего. Аслан-бек вошел и плотно прикрыл за собою дверь.

— Кто в доме? — все так же тихо, но внушитель-

но спросил Аслан-бек, хотя был осведомлен, что в доме, как он и требовал, кроме Хасана, никого нет.

— Только я, — ответили из темноты. Теперь, когда дверь на улицу закрылась, в сенях не было видно ни зги. А взглянуть в лицо юноше было необходимо, — Аслан-бек очень доверял внешнему впечатлению.

— Пойди закрой ставни и зажги лампу, — приказал он.

— Ставни закрыты, — ответил Хасан.

И это знал Аслан-бек. Он просто хотел послушать, как будет звучать голос Хасана. А тот чиркнул спичкой и поднес ее к фитилю керосиновой лампы, стоявшей на табурете. Как ни скудно было освещение, Аслан-бек хорошо разглядел стоявшего перед ним. Хасан оказался по внешности таким, каким и представлял его себе Аслан-бек: невысокий, узкоплечий, но жилистый, смуглый и длинноносый — весь в дядю. И еще Аслан-бек сразу заметил, что на Хасане гражданская одежда: темные брюки, клетчатая сорочка и какая-то кургузая куртка. А ведь ему следовало быть в форме стражника. Неужели Камиль что-нибудь напутал?

Они вошли в кунацкую, и Аслан-бек, придвинув к себе стул, сел, не приглашая садиться Хасана. Тот стоял посередине комнаты и, продолжая держать в руках лампу, вопросительно смотрел на пришедшего, лицо которого оставалось в полутени. Лицо же Хасана было хорошо освещено, и на нем явно читались неуверенность и напряженное ожидание.

— Поставь на стол лампу! — коротко приказал Аслан-бек.

Хасан повиновался и остался стоять. Теперь оба были освещены одинаково, не очень ярко, но достаточно, чтоб каждый мог хорошо разглядеть другого, и юноша понял, что перед ним сам Аслан-бек Нагиев.

Он встретил неподвижный, непреклонный взгляд ястребиных глаз, но не опустил свои: он не собирался обманывать и потому не испытывал страха, только напряжение. Ему хотелось, чтоб Аслан-бек поверил ему. Аслан-бек почувствовал это и сразу приступил к делу:

— Почему не в форме?

Хасан с облегчением вздохнул: на этот вопрос куда легче ответить, чем на тот, которого он ждал.



— Нас сегодня в караул не поставили. Салмана ох-

раняют солдаты.

— С какого времени?

— Сегодня с утра.

— Откуда они взялись?

— Солдаты?

— Да.

— Из учебного батальона.

— Сколько их?

— Двое. Нас сменили.

— Двое караул несут. Еще четверо должно быть..

— Других нет.

— Это точно?

— Точно.

— Так...

Аслан-бек задумчиво побарабанил пальцами по столу. Он размышлял: местную стражу убрали, не доверяют. Это понятно. Но почему солдат только двое? Из учебного батальона гнали — восемь километров, а смены им нет. Странно. В подобных случаях группа охраны состоит из шести бойцов: двое в карауле, двое в резерве, двое отсыпаются. В крайнем случае четверо. А тут двое!.. А, ясно! Утром Салмана увезут, потому и смены двоим не нужно.

Аслан-бек продолжал обдумывать обстановку: по старому плану действовать нельзя, — к солдату Хасана не подошлешь, да они его и во двор не впустят. Наверное получили инструкцию на этот счет. Значит, действовать надо иначе: в лоб. Шуму будет много, но другого выхода нет. И Аслан-бек принял другой план действий.

Перевалило за полночь, а свет в окне начальника комендатуры не гас. Сквозь несвежую марлевою занавеску различались две фигуры: оба чекиста находились в кабинете, сидели за столом, — видимо, готовили бумаги к отправке в город. В половине первого Аслан-бек решил действовать. Даже хорошо: они оба вместе, обоих и прихлопнут, некому будет организовать погоню. Хотя и на этот случай меры были приняты, а лучше



обойтись без излишнего шума. Его и без того будет достаточно.

Сейчас самое главное надо бесшумно перелезть через стену. Эти двое не услышат, — сами же закрыли окно, — а вот тот солдат, что несет караул за углом дома во дворе, — он бы не услышал да не высунулся раньше времени.

С Аслан-беком в паре шел Идрис, человек бывалый и не из робких, с оружием обращаться умеет, но гранат метать ему не приходилось. И тем не менее это дело пришлось поручить ему.

— Когда выдернешь кольцо — считай до двух и бросай, — напомнил Аслан-бек. Он говорил не шепотом, а приглушенным голосом — в сплошной тишине шепот слышнее. — Если кто останется на ногах — стреляй, но не торопись. И только в туловище. В голову легко промахнуться.

На стену взобрались без единого звука и, повиснув на руках, так же бесшумно спрыгнули на носки с другой стороны. Идрис, пригнувшись, подкрался к освещенному окну и сделал знак, что там все без перемен. Аслан-бек двинулся в другую сторону — к тому углу дома, за которым под окном 2-й камеры КПЗ расхаживал солдат.

Издали донесся металлический, тоскливый крик филина. Он означал, что двое других из группы заняли исходные позиции со стороны двора комендатуры, там, где он примыкает к заброшенному фруктовому саду местного колхоза. Аслан-бек рукой сделал вопросительный жест. Идрис — его лучше видно было, так как рядом с ним из окна лился свет, — кивком ответил, что готов. Аслан-бек подал знак. В ту же секунду Идрис кирпичом ударил по стеклу. Звон разбитого стекла невыносимо резко и нервирующе резанул по слуху в глухой тишине ночи, но тут же был поглощен оглушительным взрывом гранаты. Из окна кабинета повалил дым, свет погас, но Идрис для верности сделал несколько выстрелов по двум лежащим фигурам.

За домом послышался резкий возглас и приближающийся топот ног. Это часовой из наружного караула бежал на звук взрыва. Аслан-бек, ждавший его с этой стороны угла, подобрался, словно тигр, готовящийся к прыжку, и в тот момент, когда солдат показался из-за

стены дома, нанес ему рукояткой револьвера удар в висок. Тот рухнул на землю, даже не вскрикнув, пилотка у него слетела и автомат выпал из рук.

Бросив беглый взгляд, Аслан-бек понял, что сопротивления от него ждать уже не приходится, и крикнув Идрису: Подбери автомат! — бросился, огибая дом комендатуры, к той части двора, откуда можно было проникнуть в КПЗ. Это был самый рискованный момент операции, так как двое, засевшие за стеной со стороны фруктового сада и открывшие огонь по окну и дверям караульного помещения, могли попасть в него. Но как только Аслан-бек показался, обстрел прекратили, — тут тоже действовали опытные люди, точно понимающие свою задачу.

В два прыжка Аслан-бек достиг входа в КПЗ и в открытое окно швырнул вторую гранату. Новый мощный взрыв потряс округу. В разных местах по аулу отчаянно лаяли взволнованные собаки, мычали коровы, блеяли овцы. Но человеческих голосов слышно не было. Люди, конечно, тоже проснулись, но предпочитали не проявлять себя.

Задыхаясь в густом и едком дыму, застилавшем караульное помещение, Аслан-бек и подоспевшие со стороны сада двое возились с дверью, ведущей в коридор между камерами. Она оказалась очень прочной — плечами ее высадить не удавалось.

— Руби! — скомандовал Аслан-бек, и один из его спутников, достав из-за пояса заранее припасенный топор, сильно ударил несколько раз по двери у замка. С третьего или четвертого удара что-то треснуло и дверь распахнулась.

— Салман Туркаев! Где ты? — крикнул в крошечную тьму коридора Аслан-бек.

— Я здесь, — раздался приглушенный голос.

Посветив ручным трофейным фонарем, Аслан-бек нашел дверь.

— А ну-ка стукни как следует! — приказал он.

Державший топор ударил раз, ударил второй раз — и дверь распахнулась. В глубине камеры смутно различалась фигура человека.

— Это ты, Салман? — спросил Аслан-бек. Возбуждение уже почти оставило его. Он говорил резко и вла-

стно, так, как привык говорить в последнее время, и полностью контролировал свои слова и действия.

— Я, Аслан-бек.

— Еще кто-нибудь здесь есть?

— В этой я один. Туда, — Салман рукой показал в сторону другой камеры, — вчера кого-то привели.

Аслан-бек кивнул в указанную сторону, и тотчас удар топора обрушился на дверь второй камеры. Эта поддалась сразу.

— Выходи! — крикнул Аслан-бек.

Из тьмы возникла тщедушная фигурка. Когда она несмело выступила в коридор, Аслан-бек понял, что перед ним подросток. «Ах, сволочи, детей берут!» — пронеслось у него в мозгу, и он спросил:

— Ты кто?

— Я свой, чеченец, — ответил дрожащий ребячий голос.

— Вижу, — сказал Аслан-бек, хотя видно было плохо. — Зовут как?

— Анвар Гаджиев я. Из Улус-Керта.

— Из Улус-Керта? — Аслан-бек на минуту задумался. В этом ауле у него пока своих людей не было.

— За что тебя взяли?

— Камнем в солдат бросил.

Аслан-бек усмехнулся.

— Тебя там взяли?

— Нет. Я здесь у дяди живу. Отец сильно болеет. Нам кушать нечего. Сюда прислал.

— Они и знали, откуда ты?

— Наверное, нет. Не спрашивали. Только били. Сильно били, потом сюда посадили.

— Ясно. К дяде тебе идти нельзя. Сразу отсюда — домой, в Улус-Керт. Чтоб к утру уже в Дуба-Юрте был, понял? — Подросток молча слушал и, запрокинув голову, тарашил глаза на Аслан-бека. Он слышал о нем и сейчас испытывал восторг, что тот воочию предстал перед ним да еще при таких обстоятельствах. Аслан-бек между тем продолжал: — Дорогу знаешь? — Подросток кивнул. — А домой придешь, скажи там людям, что тебя Аслан-бек освободил. И скажи, чтоб ждали меня.

— Скажу.

— Ну, ступай!

Подросток несмело переминался с ноги на ногу, продолжая снизу вверх вопросительно заглядывать в лицо Аслан-беку и, видимо, еще не вполне осознавая происходящее. Аслан-бек тем временем обернулся к Туркаеву:

— Ты готов, Салман? Двигаться можешь? Уходить надо. Быстро.

— Я готов, Аслан-бек.

Салман говорил с натугой, слегка заикаясь. Для него, хотя он и надеялся на помощь, освобождение пришло неожиданно, во время сна, и он был потрясен происшедшим.

Все вышли один за другим во двор, и только теперь, проходя через караульное помещение, Аслан-бек мельком взглянул на распластанное на полу лицом вниз тело солдата, убитого взрывом гранаты. У ворот к ним присоединился дежуривший во дворе Идрис.

— Там пожар начинался, — он показал в сторону комендатуры. — Я потушил.

— Правильно сделал, — сказал Аслан-бек, но тут же подумал, что лучше было бы, если б комендатура сгорела дотла, ведь там бумаги, на основании которых еще не одного человека заберут. Однако времени задерживаться не было, да и чем ее подожжешь, комендатуру?

— Ты вот что сделай, — вновь обратился он к Идрису. — Вот тебе фонарь. Все бумаги, которые увидишь на поверхности, возьми. Да и личное оружие... эти х забери. Пригодится.

— При них два револьвера было. Вот они. И по три обоймы к ним.

— Это хорошо, пригодятся. Ну, иди быстро. Мы тебя ждем около лошадей.

Все, кроме Идриса, спустились вниз с откоса к руслу речки, где метрах в ста, держа наготове лошадей, уже ждали их те двое, в задачу которых входило прикрывать операцию со стороны.

— Можно мне с вами? — неожиданно подав голос освобожденный подросток.

— Ты еще здесь? — удивился Аслан-бек и нахмурился. — Нельзя. Муса, — обратился он к одному из своих спутников, — посади его сзади. Когда доедем до

старого колодца — ссадишь. Оттуда дорога прямая, сам дойдет.

Подросток, уже больше не задерживаясь, вскарабкался на круп рослой лошади и обхватил сзади Мусу.

— Да, погоди-ка. — Аслан-бек, тоже уже сидевший верхом, тронул своего коня и приблизился к мальчику. — На вот, — он сунул ему в нагрудный карман несколько сотенных бумажек, свернутых трубкой. — Матери отдашь. Пусть муки купит.

Аслан-бек оглядел свою группу: все сидели на конях, включая Салмана Туркаева. Сверху быстро спускался Идрис.

— Ну, айда!

Один за другим по узкой крутой тропе они поднялись на деревенскую улицу, выведившую на большую дорогу, и сразу взяли галопом. Собаки и другие животные уже успокоились. Люди, хотя и не спали, по-прежнему не издавали ни звука, и только дробный топот семерых лошадей прогрохотал по безлюдной улице аула и растаял в глухой тишине ночи.

\* \* \*

А война между тем приближалась. Взяв Ростов, германское командование левое крыло своих войск двинуло на Сталинград, а правое завернуло под прямым углом на юг. На этом направлении советские войска в беспорядке отступали. Без боя были оставлены богатые станицы Кущевская, Тихорецкая, Кавказская. Отсюда немецкая лавина опять разделилась на два рукава: правый двинулся через Усть-Лабинск и Краснодар к Черному морю, левый через Армавир и земли карачаевцев и балкарцев в Кабарду и далее в Осетию.

Аслан-беку, да и многим, казалось, что до их прихода в Чечню осталось совсем недолго. В начале августа они стояли уже под Владикавказом.

Но тут их продвижение застопорилось. У них просто не хватило войск для освоения такой огромной территории. Так бывает с потоком воды, пролившимся на ровную поверхность: в месте падения она быстро разливается во все стороны. Затем обозначаются направления наиболее интенсивного движения, потом потоки начинают истощаться, становятся все мельче, соответ-

ственно замедляют движение и, наконец, останавливаются. Воды больше нет, чтоб продвинуться даже на сантиметр. Так получилось и у немцев.

А на севере, в Сталинграде, начались затяжные бои, завершившиеся в конце концов невиданным разгромом и пленением всей немецкой группировки между Доном и Волгой.

В январе, под угрозой быть отрезанными, немецкие войска южного направления начали поспешный отход с Северного Кавказа.

К весне 1943 года расстояние от Чечни до ближайшей германской позиции, если не считать Темрюкского плацдарма, измерялось в тысячу с лишним километров.

## Глава 5

### ВОСПОМИНАНИЯ ПОЛКОВНИКА КОЖУХОВА

Вскоре после Нового года наша дивизия войск НКВД особого назначения была переброшена на Северный Кавказ.

Ну, рады были, конечно. Хотя понимали, что не для забавы нас сюда прислали, не для отдыха. Но все же считали, — с горскими бандами иметь дело не то, что с немцем воевать. Он хоть и фашист, а дело свое знает, зубами за каждый клочок держится, любую деревеньку обороняет. А наш брат-эмведешник к такому обращению непривычен. В землю зароется и лежит, в атаку его не поднимешь. Сами понимаете, работа у нас — тыловая, хе, хе, хе...

Помню, на нашем участке танки и гвардейский стрелковый полк оборону противника прорвали — там итальянцы стояли. Это юго-западнее Воронежа было, еще в сталинградскую зиму. Мы должны были их поддержать — влиться в прорыв и расширить брешь. Ну, мы, понятное дело... не торопимся. А тут немец подошел. Немного их, так батальона три, а все же немцы. Отсекли они танковый клин. Нашей бы дивизии, конечно, ударить и опрокинули бы. Но мы — ни тпру, ни ну. Нет боевого опыта у хлопцев, к такому огню они непривычны.

Примчался комкорпуса, генерал-лейтенант Ракитин. Кричит нашему комдиву:

— Ты что же, падло, на месте топчешься?! Как по своим заградительный огонь вести, так вы мастаки (это он минувшее лето вспоминал, приказ № 227), а как с противником, так в штаны наложили? Под трибунал пойдешь, мать твою туды-растуды!

Крут был комкор и ругатель страшный.

Я у нашего комдива о ту пору в адъютантах ходил. Он тогда промолчал, не до разговоров было. И впрямь под трибунал мог загреметь. Но потом, когда все утряслось, как-то говорит нашему замполиту:

— Ты помнишь, что он тогда сказал? Сейчас, конечно, не до того. А вот кончится война, я ему эти слова-то припомню. Будет он у меня белых медведей пасти.

Что говорите? Нет, на Колыму генерал Ракитин не попал. Его в сорок четвертом во время летнего наступления убили. Он тогда на 3-м Белорусском воевал у Черняховского. Большие с ним друзья были. Боевой генерал!

Да, но я в сторону забрал. Ну, прибыли мы на место. Кого в Беслане выгрузили, кого в Назрани, а наш полк прямо в Грозный. Со всеми удобствами, так сказать. Видим, однако, что отдыхать не придется, — хлопот полон рот. Местная внутренняя тюрьма забита до отказа: в одиночках по пять-шесть человек сидят, в общих до сорока. Все больше местные. Ну и всякой другой татарвы достаточно. Они, говорят, Гитлера ждали, хотели белого коня ему подарить.

Что говорите? Да, правильно: крымские татары — белого, карачаевцы — белого, калмыки — белого. И вот теперь, оказывается, чеченцы с ингушами тоже белого. Вроде присказки какой.

Да, конечно, потом-то поняли, но тогда хлопцы верили. Да и мы, комсостав, тоже. А, впрочем, верь — не верь, а дело свое делай, приказ получил — выполняй. У нас в органах на этот счет строго было: внутренний фронт. Этот, что пенсне носил, он шутки шутить не любил.

Да, так нас вначале поставили на охрану Управления ГБ, Обкома партии, Горкома, почты, вокзала. Ну и, конечно, нефтепромысла. Охраняли их так, что муха

не пролетит. Милиции-то не доверяем, в ней много нацменов служило. Дежурство несет, а сам волком смотрит. А волк известно: сколько его ни корми...

Ну эта служба, охранная, — по нас была... Привычная. И довольствие что надо, паек гвардейский. Американцы тогда много нам слали: бекон, яичный порошок, какао, сгущенка. На гражданке такого и не видавали. Но только недолго эта лафа продолжалась. Меня как раз военным комендантом вокзала назначили, через меня все проходило. Вижу эшелоны все гонят и гонят. И все наши — внутренние войска — и еще части спецназначения. Были тогда такие.

Кто здесь же в Грозном разгружается: эти все ночью, чтоб меньше посторонних глаз смотрело. Тут же их на грузовики и дальше, в глубинку. Машин много было, все новенькие студеры, заглядение. Рузвельт все шлет и шлет. Другие эшелоны — на проход — в Аргун, Гудермес и даже до Хасав-Юрта. Я для интереса стал считать эшелоны. Получилось, что дней за десять четыре дивизии перебросили. Из Москвы генералы ГБ прибывают один за другим. Вижу — что-то необычное готовится. И все видят. И местное население понимает — ведь не младенцы же. Волнуются...

Начальство молчит, мы тоже не спрашиваем, не положено, но догадываемся. А на улицах полно военных, не фронтовиков, конечно, фронт-то во куда отодвинулся — сорок четвертый год пошел, дела идут что надо, — а наших чинов внутренних войск. В городе — беспокойно, по ночам постреливают, аресты идут. Теперь уже и городская тюрьма набита доверху, а все берут и берут. Обстановочка.

Но все это шутки были. А вот как двинули наш полк в глубинку, так небо с овчинку показалось.

Мы в Старых Атагах стояли, это недалеко от Грозного, так километров шестьдесят будет прямо на юг. Село — аул по-ихнему — большое, стоит на открытом месте, до гор неблизко. Правда, с двух сторон лес вплотную подступает. Так верите ли, ночью за околицу носу высунуть нельзя, да и днем небезопасно. Вокруг банды бродят... Что? Банды-то? Нет, не грабят. Не уголовники, все больше дезертиры и вообще, кто против советской власти в открытую пошел. Партизаны? Что ж, можно и так называть, а только непривычно как-то. Пар-



тизан это когда за нас, а когда против — значит, бандиты. Ну, да дело не в этом. Так вот этими... партизанами, по-вашему, прямо кишит вся местность. И сделать с ними ничего нельзя. Ты еще только задумал двинуться в какую-нибудь сторону, а они уже знают. Повсюду засады, дороги минированы. Если крупное соединение в действие пускаем, с танками (нам танков подкинули), — уходят. Умело действуют. У них там вожак объявился — Аслан-бек звался, фамилию запомнил, в недавнем прошлом командир Красной Армии. За финскую орден имел. А как началась Отечественная, к немцам перешел. Теперь вот здесь, в родных краях объявился. За ним немало дел числилось: нападение на воинские склады, захват оружия и боеприпасов, разгром комендатуры ГБ в одном ауле. Там они двух наших и двух солдат уложили, заключенных с собой увели. Чисто сработано было, ничего не скажешь.

Сколько мы за ним охотились — ничего не выходило: свои люди у него везде, о каждом нашем шаге знает. Да и как его возьмешь — стреляет без промаха, силыщи невероятной, смел, находчив... В отряде у него, по нашим данным, человек пятьсот. Вооружены хорошо. Сколько наших они перебили — ни одного автомата, ни одной винтовки, ни одного револьвера на месте не оставили, все с собой забирают. Умелый командир, ничего не скажешь. И ведь смелость какая, — из-под самого носа у нас несколько раз уходил. Он ведь местный был, их дом... да, вспомнил фамилию: Нагиевы. Да, точно, так и есть. Так вот дом Нагиевых в Старых Атагах стоял, почти в самом центре. Отец давно помер, в доме мать, жена Аслан-бека да брат младший. Средний брат с Аслан-беком ходит. А младший дома-то почему остался? Болел. Чахотка у него в последней стадии. С постели уже не вставал. Мы понимаем — вот наш шанс. Известно было, что Аслан-бек его иногда навещает. Очень любил он младшего брата, даже какие-то лекарства ему доставал, да ничего не помогало. Совсем уж плох был.

— Оцеплять дом смысла не было — узнает, не придет и все. Какая польза? Только вспугнем. Скрытое наблюдение, правда, велось. Да ведь какое это наблюдение? Своего-то, русского, не поставишь — его сразу видно будет, аул чисто чеченский. Из местных завер-

бовали кое-кого, да ненадежны. Для виду согласились, а проку от них, что с козла молока. Был у нас один сексот с опытом, Али звали. Так только что звался сексотом, а ни разу вовремя не сигнализировал. Придет: «Начальник! Аслан-бек вчера у своих был!» «Что же, язвы твою, тогда же не сообщил?» «Тогда нельзя было, — убьет!» Видали как? Дурачком прикидывается, а у самого рожа хитрющая, в глаза не смотрит, а поймешь его взгляд, так будто над тобой же и смеется. Хотели мы было его того... арестовать, значит, за саботаж, но потом рассудили — не стоит. Ну возьмем его, ну даже в расход пустим, а толк-то какой? Кем заменим? Не идут к нам: кто Аслан-бека боится, кто сам нас не жалуется.

В общем твердый был орешек, а только разгрызли мы его.

Как разгрызли, спрашиваете? А с помощью брата. Да, да, того самого, что болел.

Докладывают мне как-то утром, что Юсуп Нагиев ночью помер. Я вам говорил, что он совсем плох был. Вот и отдал Богу душу, как раньше выражались. Разрешение на похороны родственники пришли просить. У них ведь, у мусульман, это быстро делается: сегодня преставился, завтра на кладбище несут. Такой у них порядок...

И вот тут меня осенило... Вот этот орден видите? Отечественной войны первой степени. За то и получил. Оценили.

Посмотрел я на них — двое пришли, старики оба — и говорю:

— Не будет вам разрешения на похороны, пока Аслан-бек сюда не явится! Поняли? Пусть придет и сдастся, а не то — велю выбросить тело брата на площади, собакам на съедение и охрану поставлю. Сроку даю сутки.

Сказал, а сам глаз не поднимаю. Как-то боязно им в лица взглянуть. Они молчат, ни звука. Так с минуту прошло. Наконец я посмотрел на них. Оба стоят с закрытыми глазами и шепчут что-то, будто молятся. Сами белые, как борода у того, что старше. Постояли, помолчали еще, потом, не глядя на меня, повернулись и вышли.

— Ну это ты, Фомич, здорово придумал, — ска-

зал мой замполит, мужик крепкий, чекист еще дзержинского призыва. — Выйдет он к нам, думаешь?

— Поживем — увидим, — говорю. — **Что мы те-  
ряем?**

308-311033

Тут же я поднял полк по боевой тревоге. Все ходы-выходы из аула перекрыли, дом Нагиевых тройным кольцом оцепили, два танка на площади поставил. Дом-то у них совсем близко от нее стоял. Три других тачка выдвинули к дорогам, по которым он мог прийти. Последний, шестой, в резерве около штаба. В центр сообщил: «Так, мол, и так, завтра важных новостей жду, обеспечьте прикрытие с южной и восточной стороны». Это там, где лес близко подходит. Хотя появление Аслан-бека с отрядом было маловероятно. Он ведь человек военный, понимал, что дело это безнадежное. Однако меры все равно надо было принять, предвидеть все возможности. Чем черт не шутит — возьмет и атакует. Отчаянная голова. Из Грозного генерал мне отвечает: давай, мол, действуй, прикрытие обеспечим. Возьмешь живым — подполковника получишь и премия твоя. За Аслан-бека большая денежная премия была назначена. А деньги во как нужны были. Сами понимаете — война-войной, а у меня две дочери дома. Одевать, обувать надо, девки на выданье.

Решил я сам сходить к Нагиевым, посмотреть, что там да как. Ведь брать-то его там будем, надо изучить обстановку. Кликнул я адъютанта, двух автоматчиков — без охраны там не погуляешь — и пошли. Идти недалеко было, а неприятно: улица словно вымерла, даже детей не видно, а из каждого окна будто кто-то смотрит и проклиняет. А то и пальнуть могут. Очень просто. Такие случаи бывали.

Открываем калитку, заходим. Двор чистый, службы поставлены прочно, добротнo. Чувствуется, что жили с толком, на печи не отлеживались. Поднялся я на крыльцо, а тут дверь распахивается и хозяйка-старуха мне навстречу. Лицо белое, как мука, глаза воспалены и опухшие — видно, не спала всю ночь, над сыном покойником сидя. Залопотала что-то по-своему и руками у меня перед носом машет: нельзя, мол, туда. Это я понял. Ну, отодвинул я ее слегка локтем — она, правда, высокая была, да худая как жердь, подалась легко — и прошел внутрь. В первой комнате, в кунацкой по-

ихнему, на низком топчане лежит покойник. Совсем еще молодой, лет двадцать, не больше. Из себя ничего, на старшего, говорили, похож был, только худой такой, что непонятно, в чем дух держался. Одна кожа да кости. А вокруг на стульях, на скамьях сидят женщины. Одна причитает, другие молчат. Тут же старик в чалме — откуда только такой взялся? — по толстой книжке вслух читает. В общем обстановка для нашего дела самая неподходящая: кто его знает, Аслан-бека, что он в последний момент выкинет? А уйти нам отсюда уже нельзя, а то ночью как бы тело брата не выкрали. Тогда еще хуже будет. Ну, думаю, шабаш этот надо кончать. Оно и неловко, конечно, все же над покойником сидят, а надо...

Я забыл сказать, что с нами переводчик пришел, председатель местного поселкового совета. Звали его смешно: Казбек, как гору. Гора такая есть. Может, слышали? Он с Аслан-беком в школе в одном классе учился, знал его в лицо. Мы этого Казбека при себе держали. Для опознания. Да, так я ему говорю:

— Пускай очистят помещение. Оно нам нужно.

А он:

— Товарищ майор, тут покойник лежит. Обидится народ.

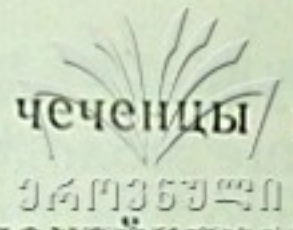
А я:

— Ничего сделать не могу. Да и им спокойнее будет. А то как бы худого не вышло. Дорогого гостя ждем.

Конечно, можно было погодить с этим, — в ближайшие часы я его не ждал, ведь где бы он ни обрелся, а добраться до него должны, мой ультиматум передать. Но я нарочно круто действовал, чтоб показать, что не шучу и все, что сказал — сделаю.

Поднялись они все молча и к дверям потянулись. Одни мимо идут, в мою сторону не смотрят, будто и нет меня вовсе, а которые смотрят — ну, словно голодные волчицы, так бы горло и перегрызли. Я, конечно, не очень смущался, не до сантиментов на нашей службе. Всякое приходилось видеть. Но все же как-то не по себе стало. Одно утешало, что скоро их всех отсюда выметут. О ту пору мы, старшие офицеры, уже точно знали, что готовится, да и все догадывались, только не учитывали, какой размах примет операция. А она бы-

ла действительно что надо: два народа — чеченцы и ингуши фьютъ и в Сибирь!



Ну, очистили мы помещение, топчан с покойником к стене отодвинули, тут же мать на стуле примостилась — ее трогать я не велел — и еще две женщины. Я все смотрел, которая из них жена Аслан-бека, а ее нету. Она, оказывается, недавно из дому исчезла, к мужу подалась. А Али-сексот нам об этом ни гу-гу. Это, конечно, было большое упущение местной комендатуры, и вообще дров они наломали будьте здоровы. Да что с них спросишь? Они ведь до прибытия нашего полка и пикнуть здесь боялись, за собственную шкуру тряслись. Куда им на жену Аслан-бека покушаться!

Велел я из задней комнаты большой стол внести, стулья кругом поставили и расположились. Вроде как временный штаб здесь оборудовали. Ну, конечно, все меры безопасности приняли: бойцы с автоматами во всех ключевых пунктах дома и двора расставлены. Своего заместителя я оставил, а сам пошел отдыхать. Вечером приду и буду дежурить до конца срока. Мы так и этак прикинули и решили, что Аслан-бек, если придет, то скорее всего ночью.

Пошел я домой, хотел поспать, ведь потом спать не придется, да куда там! Лег, сапоги снял, верчусь с боку на бок, а сна нет и в помине. Да и волнуюсь, по правде говоря. Встал, вызвал машину и поехал посты и секреты проверять. Сегодня маху дать никак нельзя. Дело серьезнейшее. Москва в курсе!

Проверка меня успокоила: все на местах, службу несут с соблюдением всех правил. Понимают.

Вернулся в свою хату, пообедал, немного отдохнул и туда. Пешком решил пройтись. Зима в том году легкая была, снегу в тех местах и вообще мало, а тогда уж и совсем сошел. Февраль на Северном Кавказе месяц, можно сказать, весенний. Однако — сыро.

Иду. Солнце зашло, смеркается. Кругом ни души, ни звука. Словно во всем ауле, кроме меня и моих автоматчиков, ни одного живого человека не осталось. Даже собаки не лают. Жутко.

Идем это мы, и впечатление такое, что звук наших шагов на версту в окружности разносится. И почему-то хочется, чтоб нас не было слышно. И не видно тоже. Только один раз в каком-то дворе овца проблеяла. Я

даже вздрогнул от неожиданности, так привык к этой мертвой тишине. Посмотрел через изгородь, а она, овца, черная, ну совсем черная эта овца. Такие редко падаются. И глаза черные, как мокрый уголь, и такие, знаете ли, осмысленные. Прямо в меня уставилась, будто сказать что-то хочет.

Совсем не по себе мне стало. Не к добру, думаю, она блеет. Все молчит, а она вдруг голос подала. У чеченцев это плохая примета считается: бляение черной овцы.

Однако иду. Настроение — хуже не бывает. Но потом стал думать и утешение себе нашел: это у чеченцев дурная примета. У нас в России такой приметы нет. Значит это им она беду предрекает. К нам не относится. Пришел я на то место.

— Ну, как тут? — спрашиваю заместителя.

— Никаких перемен, — отвечает. — Все спокойно. Часа два назад приходила соседка, приносила старухе поесть. Я разрешил.

— Правильно. Ну, иди, отдыхай. Но из своей хаты — ни шагу. Понадобиться можешь.

— Понимаю.

— А утром, если дополнительных распоряжений не будет — сюда. В семь часов здесь быть!

— Так точно!

Козырнул, повернулся и ушел. И я один остался. То есть не один, конечно, со мной адъютант, вестовой, автоматчики по дому и усадьбе расставлены, а все равно таким одиноким себя чувствую — спасу нет. И мысли разные в голову лезут. Я философствовать никогда не любил. Я — человек служивый, военный, свою задачу понимал так: начальство думает, принимает решения. Я — выполняю. А сам думай — не думай, нового все равно ничего не выдумаешь. Верно?

Ночь тянулась, как кляча в гору. Сидим, молчим, к каждому звуку прислушиваемся, а только нет этих звуков. Тишина. Лишь иногда забормочет чего-то старуха или топчан скрипнет — будто покойник шевельнулся. И ведь знаю, что вокруг дома в оцеплении две роты стоят, а чувствую себя так, будто один во всем мире остался.

Пока рассвело — истомился совсем.

В семь утра сошлись, кому было приказано, сразу веселее стало: замполит, мой заместитель, начштаба. Этого я отослал: нельзя же полк без управления оставить. Да и звонить из Грозного будут.

Товарищи принесли мне поесть, знали, что я отсюда сейчас не уйду. Я и голод будто чувствую, и кусок в горло не лезет. Только стаканчик водки принял. Для бодрости. А время идет, в полдень срок моего ультиматума истекает. Меньше трех часов остается.

— Не придет, — сказал замполит. — Напрасно ждем. Только время теряем.

Я разозлился. «Время теряем!» Как будто у нас выбор есть. Хотел ему сказать пару теплых слов и вдруг почувствовал толчок в сердце: едет! Прислушался: явно слышен цокот копыт. Приближается. И товарищи слышат. Мы переглянулись. Вынул я свой ТТ, снял с предохранителя и перед собой на стол положил. Другие сделали то же.

Процокали копыта совсем близко и замолкли. Хлопнула калитка. Во дворе тихо: приказ был пропустить, не задерживая. Звук тяжелых шагов по кирпичной дорожке, скрип досок на крыльце. Дверь распахнулась, и через порог ступил Аслан-бек. Огромного роста, в черной бурке, в серой мерлушковой папахе, низко надвинутой на лоб. Глаза пронзительные, взгляд неподвижный, как у птицы. Ну, прямо орел! Я знал, что он статен и ладен, но что такой — не ожидал.

Несколько секунд он смотрел мне за спину — туда, где над покойником-братом склонилась его мать. Потом перевел взгляд на меня. И так, смотря мне прямо в глаза, распахнул бурку, отстегнул револьвер и бросил передо мной на стол. Глухим, но твердым голосом сказал:

— Я Аслан-бек. Не трогайте брата. Меня берите!

\* \* \*

Заунывно тянет молодой женский голос:

Ай, Аслан-бек, Аслан-бек!

Волки перегрызли твоё горло,

Шакалы доели твоё тело,

Птицы разнесли твои белые кости по свету,

А нам осталось лишь петь о тебе.

Но подует священный ветер,  
Соберет вместе твои останки  
И мы предадим их родной земле, как завещано  
предками

И тогда восстанет вольная Чечня  
И воздаст должное своему сыну,  
Который отдал себя на растерзание,  
Чтоб нечистые руки не осквернили прах брата.  
О, Аслан-бек!

Мы со старым чеченцем сидим под деревом и молча слушаем песню. Тихо блекнет высокое небо и, наливаясь густой синевой, незаметно приближается к земле. Черные ласточки, гоняясь друг за другом, вычерчивают резкие, ломаные линии, словно пишут на необъятном папирусе таинственные письма, прочесть которые не дано никому. Что в них? Не ответ ли на вопрос к Всевышнему: когда же наконец люди перестанут терзать и мучить друг друга, когда большой народ перестанет поработать малые, когда люди поймут, что все мы — дети одной матери — Земли, и что для всех есть место в ее лоне, хватило бы способности разумно на ней устроиться.

Когда же? Когда же? Когда же?  
О, Аслан-бек!..

1983 г.

Год двухсотый  
со дня подписания Георгиевского трактата.





\* \* \*

А руки, как птицы,  
Шепчут — люби,  
А руки, как крылья,  
Молят — лети,  
И тянутся к небу,  
Запястья в цепях,  
И падают руки,  
Землю обняв.

\* \* \*

Я всего лишь крик  
Твоих ушедших грез,  
Я всего лишь боль  
Несказанной мечты,  
Я рук твоих любовь,  
Убитая в ночи.  
Наступит день —  
Я вновь приду живая,  
Рожденная из волн печали,  
И до тебя дотронусь,  
Пусть нечаянно  
В тебе все чувства пробудив.  
Ты будешь клясться  
В верности с отчаяния,  
Мне незнакомые шепча слова,  
И свыше будет нам дарована  
Всего лишь ночь,  
Всего лишь ночь одна.  
Я буду плакать о годах ушедших,  
О тех, не нам отпущенных годах,  
И в озеро печали,  
Как в пропасть камни,  
Любви последней упадут слова.  
Все повторится сызнова, как в сказке,  
Судьбы игра и перекресток встреч.  
И будешь ты, как драгоценный камень,  
В себе мою любовь беречь.

Вначале было Слово,  
 Так в Книге Книг  
 Записано рукой Евангелиста,  
 А я упорно повторяю:  
 Не Слово, а Любовь  
 Первопричина, первооснова.  
 И потому так празднично цвело  
 То Древо Жизни в саду Эдема,  
 И была чудом дня седьмого  
 Рука, простертая  
 Над плодом ядовитым смело.

## Рука левая, рука правая

1.

По левую руку стоит Искуситель,  
 По правую руку — грехов Искупитель.  
 Между — земное тело:  
 Священное, греховное,  
 Два вечных начала —  
 Плоти и Духа,  
 Два вечных страдания —  
 Любовь и Разлука.

2.

Рука левая, рука правая,  
 Одна — бесшабашная,  
 Вторая праведная,  
 Одной рукой креститься,  
 Другой — мелочь просить,  
 Не ведает правая,  
 Что левая творит.  
 Рука левая от Дьявола  
 Протянута к плоду греховному,  
 Руку правую, безгрешную,  
 На Библию кладу —  
 Клянусь я правой  
 В безгрешности своей.

А левой разрываю сети,  
Все заповеди — десять.  
Рука левая, рука правая,  
Одна праведная,  
Другая — бесшабашная.



94135340  
8084110133

\* \* \*

Из всех сокровищ, мне принадлежащих,  
Ты выбрал главное — стихи,  
От губ моих, от вечной жажды,  
От рук моих, не знавших ласки,  
Так хладнокровно отказавшись,  
Из всех сокровищ, мне принадлежащих,  
Ты выбрал главное — стихи,  
Все остальное ведь сгорит в геенне адской,  
Но не горят в огне стихи.



# ПРИТЯЖЕНИЕ

## РАССКАЗ

**К**ак мгновенное напоминание, как зов, ворвались в комнату отдаленный рокот и резковатый сигнал машины.

Эти звуки она узнавала всегда и всюду, различала среди сотен других, и, как само нетерпение и сама мольба, неслась к нему...

Она торопливо поправила волосы, непослушными пальцами застегнула пуговицы, прихватила ключи и сломя голову помчалась вниз.

Под стройным платаном стоял зеленый «фиат». Зеленый, как апрельская бархатная травка, которая тешит и успокаивает душу, заставляет сладко ныть и замирать сердце. От этого радостного, весеннего цвета можно потерять рассудок. И она мчится, не различая встречных, не слыша приветствий и не отвечая улыбкой на улыбку. А в распахнутые окна повысовывались соседи, провожая девушку подозрительными, пронизывающими взглядами.

Ну и пусть смотрят!

Как врата волшебного замка, открывается дверца машины. Там уют, музыка и — ОН!

Машина сорвалась с места. Она задумчиво смотрела на него: «Кто этот человек?! Когда он вошел в ее жизнь? В какой день, в какую минуту судьба привела его к ней?!»

— Как ты, Майя?

— Хорошо.

— Во сколько закончатся лекции?

— В семь.

— Я подожду.

Легко сказать «подожду». К этому слову еще на-



до привыкнуть... Интересно, чувствуют ли мужчины женскую любовь?.. Их переживания, страдания

— Тебе влетело за ту ночь?

— Нет. Она подумала, что я осталась у отца...

От этого напоминания в голове помутилось, разом нахлынули беспокойные мысли... Ее безжалостно сбросили с небес на землю.

Ночью мама дежурила... Вернулась только на рассвете. Майя сказала, что осталась ночевать у отца. Интересно, поверила ли мама? Скорей всего, да. Бледная, уставшая после бессонной ночи, мама готова была поверить чему угодно, только бы поскорее добраться до подушки и хоть на мгновение сомкнуть утомленные глаза. Бессонница притупляет чувства. И торопливо сбросив белый халат, будто вместе с ним хотела сбросить все заботы, мама, едва добравшись до постели, заснула глубоким сном...

Если бы ты не заснула тогда, мама! Не сбросила так равнодушно этот халат!..

С каких пор встала стена отчуждения между нами? Ведь когда-то мы были друзьями, мама! А сейчас молчим... Твоя дочь не ночевала дома. Не было никаких друзей, не было отцовского дома. Все это выдумки! И твоя дочь самолюбива ничуть не меньше тебя, мама! Никогда бы не вошла она так поздно в отцовский дом... Там теперь хозяйничает чужая надменная женщина: Нинель... Сколько же фальши и лицемерия на этом свете, мама! Только одному человеку доверяет Майя... Вот он, рядом, слегка касается ее теплой рукой... Постепенно это тепло переходит во всеобъемлющий пламень... Ты ведь знаешь, что бывает, когда тепло превращается в ненасытный пламень, беспощадно пожирающий всю твою волю, мама... Но нет, ты сильнее меня. Никому не прощала ты обид, даже отцу... Сколько же страданий выпало на женскую долю, мама! Я так люблю этого человека! Он мне жизни дороже...

На глаза навернулись невольные слезы.

— Что с тобой, Майя?

— Ничего.

Что с ней? Почему она так взвинчена? Непонятно. Неужели потому, что все ее действия остаются безнаказанными, что она абсолютно свободна во всех своих поступках, что никому нет до нее дела... И достаточно

малейшего замечания, чтоб она взорвалась. Что с ней? Что же ее так изменило?! Каждую ночь перед сном сердце стискивает бурная радость — завтра она вновь увидит его!

От каждого телефонного звонка у нее перехватывает дыхание, она бежит на первый же его зов. Встречи стали необходимостью, а его близость — счастьем.

Но только не с кем поделиться в этом огромном мире своим безграничным счастьем. Не нашлось среди друзей и знакомых человека, которому можно было бы доверить эту сладкую тайну. И поэтому все чаще ее охватывает страстное желание рассказать кому-нибудь, пусть даже случайному встречному, о своей любви. Но где он, этот случайный встречный?

Казалось бы, кто может быть ближе отца и матери? Кому еще довериться девушке, как не им?!

...Перед маленькой девчушкой разыгралась безобразная сцена. Главными действующими лицами этой трагической, навсегда врезавшейся в ее память сцены, были родители. Их перекошенные от злости лица, разъяренные голоса... О, Боже! Как безжалостны и черствы были они тогда! Поглощенные своими обидами, они не только не попытались уберечь ни в чем неповинного ребенка от кошмара выяснения отношений, но более того — каждый из них отрекался от нее: «Уходишь, так забирай свое добро!» — как ненужную вещь подталкивали они друг другу ребенка. «К чему мне твое дитя!» «И мне ни к чему!» — огрызался отец. Перепуганная, ошарашенная девочка прижималась к дверям. Она не плакала, а только округлившимися от страха глазенками смотрела на взрослых, которые с таким остервенением и упрямством отказывались от своей плоти и крови. «Она ни капельки не похожа на меня... — бушевал отец. — В ней нет ни одной моей черточки!» «И моей тоже нет!» — не уступала мать. Эти страшные минуты продлились, кажется, вечность, а охватившие ее тогда холод и одиночество остались в сердце на всю жизнь. Наверное, потому всегда она чувствовала себя лишней, никому не нужной в этом мире, родным, друзьям никогда не показывала своей любви или просто привязанности, боясь, что ее сочтут навязчивой, прилипчивой. А может, так оно и было?..

Прошли годы. Жизнь текла своим чередом. Жила

она с матерью, часто навещала отца. От обоих требовала внимания и помощи... После окончания школы два года сдавала в институт, но поступить не смогла — не добирала баллов. Намучились тогда порядком. «Заниматься надо побольше!» — пилила мама.

Когда стало ясно, что без посторонней помощи ей не поступить, пришлось прибегнуть к авторитету отца. Недобираемые раньше баллы наконец-то набрались, и она поступила.

— Хамелеон в зависимости от среды меняет окраску, — шепнула ей мама тогда перед сном. И поняла Майя, что та страшная ссора между родителями еще не угасла.

Машина затормозила у светофора.

Родные, теплые пальцы приятно заскользили по плечам, шее...

Она взглянула на него. Ямка на подбородке. Посеребренные виски. Ласкающий взгляд. «Кто этот человек?! Как же случилось, что он стал моей жизнью?!»

И она вспомнила, нет, не вспомнила — потому что никогда не забывала, а просто закрыла глаза и увидела (в который раз!) их первую встречу...

Случилось это ровно год назад...

...Всю неделю сильные ветры осаждали город. Дули они без устали: били и крошили стекла, обламывали с треском ветки, засоряли улицы осколками шифера и черепицы, беспрестанно срывали электрические провода, оставляя людей без света и вынуждая их прибегнуть к помощи керосиновых ламп и вспомнить о мужестве предков, даже не ведавших об электричестве. Закрылись школы, детсады. Таких ветров не помнили даже старожилы.

В институте же занятия продолжались. Разве что двух-трех студентов можно было недосчитаться на лекциях, да и то по уважительным причинам.

На автобусной остановке остались двое — съезжившаяся от холода Нази Квацахия и она. Нази была родом из Гегечкори. После двухлетней работы в колхозе она получила лимит и поступила в институт. Бойкую, острую на язычок девушку любили все в группе.

Ветер совсем разошелся, и девушки еще тесней

прижались друг к другу. Транспорта не было видно. Ждать не имело смысла, и они, взявшись за руки, побрели по безлюдной улице. В конце улицы их дороги расходились: Нази — направо, Майе — налево.

Стемнело. Оставшись одна, Майя вовсе приуныла, было обидно и горько, что даже в такую непогоду некому ее встретить. Ее ровесниц родители уже давно развезли по домам. Вот если бы сейчас позаботился о ней отец! Но как бы не так! И мачеха тут ни при чем. Он сам не считал нужным дожидаться дочери у ворот института. А ведь недавно его назначили управляющим трестом, в его распоряжении служебная машина. Мама дежурит, вернется только на рассвете. Ну что ж, ей не привыкать, она давно уразумела, что у родителей никогда нет для нее времени. И склоняясь под порывами беснующегося ветра, она торопливо шла по безлюдной улице, которой, казалось, не будет конца. В одном месте улица была перерыта — прокладывали газопровод. Работы давно закончились, жители уже пользовались газом, а улица так и осталась развороченной.

Внезапно из-за угла выскочила грузовая машина и, ослепив фарами испуганную девушку, с грохотом пронеслась мимо, обдав ее едкой гарью. Она резко отпрянула и, не удержав равновесия, упала. Дрожа от холода и испуга, она не могла собраться с силами, чтобы встать, и тут с другой стороны подъехала легковая машина. Хлопнула дверца, кто-то приблизился к ней.

— Что с вами?

— Упала...

— Ушиблись?

— Да, кажется.

— Покажите...

— Ой!..

Мужчина наклонился и помог девушке приподняться.

— Нога болит?

— Да.

Он открыл дверцу машины и помог ей сесть.

— Ну, поехали в больницу.

— Нет... Нет!

— А куда тогда?!

— В четвертую аптеку.

— Почему в четвертую? — улыбнулся незнакомец.



У него было удивительно приятное лицо.

— Мне лучше туда... — упрямо прошептала Майя, почему-то утаив, что в той аптеке работает мама.

Они поехали. В машине было тепло и уютно, Майя наконец согрелась, но болело ушибленное колено, плечо. Она недоумевала, как ее угораздило сесть в машину к незнакомому человеку? Если она появится в аптеке сейчас в такое позднее время с ним, разговоров потом не оберешься. Да и мама встревожилась бы: «Кто он? Как ты попала в его машину?»

Девушку охватило беспокойство. Чем больше она думала, тем безвыходнее казалась ей ситуация. Она взглянула на спутника. Широкие плечи, аккуратно подстриженные каштановые волосы, высокий лоб, серьезные глаза. Ей вдруг захотелось, чтоб дорога не кончалась долго-долго.

Подъехали к аптеке.

— Погодите, я помогу вам дойти.

— Ой!..

— Пойду-ка позову кого-нибудь из сотрудников аптеки.

— Нет, нет, не надо! — невольно вырвалось у нее.

— Почему? — удивленно взглянул на нее незнакомец.

— Там работает моя мама.

— Тем лучше.

— Да она сойдет с ума, если увидит меня в таком виде!

— Ах, вот оно в чем дело... Ладно, я сам схожу.

Майя перевела дух — кажется, появляться перед мамой и ее сотрудниками не придется. Все сильнее болело плечо, ныл локоть. Она поминутно дула на поцарапанную ладонь. Нестерпимо горело разодранное колено. Успокоившись, она осторожно приподняла край юбки и ужаснулась — колено опухло, рана кровоточила. Ей стало очень жаль себя.

— Вот вата и йод... — вернулся вскоре ее спаситель.

— Ой-ой!.. — захныкала она.

— Да протрите же йодом!

— Не хочу, жжет!..

— И откуда ты свалилась на мою голову!.. — в сердцах воскликнул мужчина.



Майя беспомощно взглянула на него.

— Отвезу-ка я вас в больницу!

— Нет, я домой хочу! И мама скоро придет.

— Ладно! — недовольно согласился незнакомец и сел за руль. — Где ты живешь?

Она назвала адрес.

Машина рванулась вперед. Майя не смогла сдержать улыбку. Украдкой она разглядывала его лицо, руки, тонкие пальцы, сжимающие руль, и каждая струнка звенела в ней какой-то чудесной музыкой...

Она вдруг представила себя очаровательной героиней приключенческого фильма. Хотелось, чтобы эти минуты длились бесконечно. Ей нравился этот незнакомый мужчина, она чувствовала себя с ним спокойно. Даже равнодушно-покровительственный тон взрослого, который нет-нет проскальзывал у него, ничуть не раздражал ее. На вид ему было лет тридцать—тридцать два.

Всю дорогу ехали молча. Мужчина сосредоточенно вел машину, то подаваясь вперед при переключении скоростей или торможении, то откидываясь на спинку сидения. Временами он глухо покашливал. Прядь каштановых волос нависала над правой бровью. Ее охватило страстное желание коснуться пальцами этой пряди, убрать ее со лба. Но она мгновенно совладала собой, справилась с этим странным желанием. «И что за легкомыслие, как я могла поехать с ним! Поделом мне будет, если он куда-нибудь свернет...» — подумала она, но так и не разобралась, отчего все внутри у нее захолонуло — от страха ли или от желания, чтобы ее действительно похитил этот незнакомец...

Центр города остался позади. Машина мчалась вперед по шоссе. При свете фар Майя видела, как в затеянной ветром причудливой пляске выгибались ветви платанов и словно пытались во чтобы то ни стало удержать выцветшие, почти белые листья. Вскоре частые капли дождя забарабанили в ветровое стекло.

— Дождь пошел, — проговорил незнакомец и включил дворники. Его голос, монотонное поскрипывание дворников вернули Майю к действительности.

Она взглянула на дорогу. Ветер нес множество листьев и обрывков бумаг, шлейфом стелющихся по асфальту.

Пронеслись на желтый свет, который слабо осветил перекресток. Уже недалеко был ее дом.

Майя была настолько взволнованна, что едва различала контуры пятиэтажного дома. Пришлось напрячь зрение. Почти все окна были освещены, только в крайней квартире на третьем этаже было темно.

Девушка нерешительно взглянула на незнакомца, по-видимому, ей стало не по себе от мысли, что он может последовать за ней.

— Ну как вы? Болит? — спросил мужчина.

— Немножко...

— Надеюсь, вы сможете дойти?

— Да, конечно.

— Вы в этом доме живете?

— Да.

Мужчина улыбнулся. Он стоял, слегка расставив ноги, и задумчиво смотрел на широкое серое здание.

— Этот дом строил я...

— Вы инженер?

— Да.

— Очень приятно.

— И с кем вы тут живете?

— С мамой... — она вдруг испугалась, что он последует за ней.

— Ну, я пошел...

— Большое спасибо. До свидания!

— Всего хорошего!

Незнакомец сел в машину, улыбнулся ей на прощание... и исчез.

Майя долго простояла там, где он ее оставил. Щемящее чувство сдавливало сердце, словно опустела вся вселенная и осталась она одна-одинешенька. В смятении огляделась вокруг и медленно побрела к дому.

Майя открыла дверь, вошла в темную квартиру. Дождь, подгоняемый сильными порывами ветра, бился в стекла, словно пытаясь ворваться в комнату.

Она сунула ноги в мягкие тапочки, скинула плащ, прошла в комнату и, как в тумане, опустилась на диван, все еще находясь во власти пережитого.

«Ты стала нервной, — говорила мама, — все-то ты принимаешь близко к сердцу... Оглянись хоть вокруг, видишь, как люди живут...»

Не могла она жить, как другие, и любить не могла по-другому, и ненавидеть...

...Той ночью она так и не смогла заснуть. Болело колено, плечо, но главное — не давало покоя неожиданное появление и исчезновение незнакомца. Он расстроил, разбудил в ней неведомые ей самой чувства. В полудреме чудилось прикосновение его сильных рук, его глаза — добрые, ласковые — смотрели на нее откуда-то из темноты...

Она пролежала всю неделю, неделю, продлившуюся целую вечность. Лежала, отрешенная от всего, как сквозь сон слыша вопросы озабоченной и недоумевающей матери. Образ незнакомца неотступно преследовал ее. Она не знала о нем ничего — ни имени, ни фамилии, ни места работы. Пропущенные занятия ничуть не волновали. Одно только желание владело всем ее существом: увидеть его, где-нибудь встретить. Но увы!.. Небо ли его поглотило, земля ли — непонятно. Исчез бесследно — и все.

А когда боль от ушибов прошла и колено зажило, в душу закралось сомнение: «Может, не было той ночи? Может, все это плод ее воображения?..»

Вскоре их институт организовал экскурсию в Никорцминда. Древние фрески поразили ее воображение. Святые смотрели на нее со стен храма с пониманием и любовью, и под их взглядами, излучающими печаль и нежность, на душе становилось покойно. Но и здесь она почти физически ощущала его присутствие, казалось, что стоит ей обернуться, и она встретится с ним взглядом.

А когда возвращались обратно, она все пыталась вернуть себя к действительности: «И что это я вбила себе в голову? Да он меня уже и не помнит...»

Но чем больше она противилась страстному желанию увидеть его, тем неодолимее оно становилось. Стоило только найти какое-то сходство с ним в случайном прохожем, как она сломя голову бежала следом...

...У театральной кассы толпились люди. Было шумно, то и дело раздавались голоса: «У вас нет лишнего билетика?».

Майя с подругами миновали фойе, разыскали свои места, сели.

Она рассеянно слушала музыку и разглядывала

зрителей. Перевела взгляд на ложи. Потом почему-то обратила внимание на девушку в первом ряду с роскошным букетом гвоздик. Слегка склонившись от собственной тяжести алые гвоздики, казалось, разливали вокруг какое-то волшебное сияние. Майя еще раз взглянула в ту сторону и... не поверила своим глазам. Через каких-то два-три ряда сидел ОН. Ее бросило в жар, перехватило дыхание... Она не могла оторвать взгляда от его лица, узнавая каждую черточку — высокий лоб, глаза, слегка раздвоенный подбородок...

В антракте зрители поднялись со своих мест. Переговаривались, смеялись. Зал постепенно пустел. А он оставался на своем месте. У Майи от страха сжималось сердце: «Вдруг он уйдет!.. Вдруг не заметит...» Наконец-то решившись, она направилась в его сторону.

— Ты куда? — дернула ее подруга.

— Сейчас приду...

Она прошла вперед, словно интересуясь происходящим вокруг дирижерского пульта, и приблизилась к нему.

Мужчина медленно повернул голову, взглянул и...

— Вы?! — приподнялся он, явно волнуясь. Его глаза искрились нескрываемой радостью. Пытаясь скрыть волнение, он поминутно проводил по лицу дрожащими руками, словно не веря, что это она, Майя, стояла перед ним.

Господи, как странно устроен этот мир!

Очнулась...

Оборвалась нить воспоминаний... Машина остановилась перед институтом. Уже который раз он так провсжал ее.

— Я подожду, — тихо попросил он.

— Хорошо, — торопливо согласилась она.

На отделении английского языка учатся четырнадцать девушек и один-единственный парень. Сын заведующего кафедрой — Зура Джанхотэли. Патлатый, тощий субъект с вечно дымящейся сигаретой в зубах. Он постоянно пропускает лекции, не снисходит до дружбы с однокурсницами, у него «свой круг».

— Я видел тебя с каким-то типом... — сально улыбаясь, шепчет он Майе.

— С каким?

— Да... в зеленом «фиате»...

— Неправда!..

— И не только я...

— Отстань!



Откуда-то издалека доносится голос лектора. Этот Зура вызывает в ней непреодолимое отвращение. Она смерила его негодующим взглядом. Вельветовые фирменные брюки и сорочка с многочисленными наклейками удивительно сочетались с наглым взглядом его водянистых глаз. И из-за этого слизняка девчонки потеряли голову!..

Студенты записывали лекцию. Но Майе было не до этого. Было тревожно на душе. Она не ощущала времени, не слышала звонка на перемену...

Открылась дверь. Лаборантка, близоруко сощурившись, оглядела аудиторию.

— Майя Двали здесь?

— Здесь!..

— Вас ждут внизу.

— Кто?

— Не знаю...

В вестибюле около мраморной колонны стояла высокая стройная женщина. На ней было элегантное синее платье с белым отложным воротничком. Стянутые на затылке волосы открывали красивый лоб... Майя ее не знала.

— Вы дочь Амирана Двали?

— Да...

«Опять эти отцовские выходки».

— У меня к вам дело...

— Я вас слушаю.

— Вы должны ненадолго пойти со мной!

— Пожалуйста...

Женщина прошла вперед. Майя еще раз оглядела ее. Нет, явно она никогда раньше не видела ее. И кто это может быть?! Они прошли институтский двор. У ворот стояла машина. Женщина открыла дверцу и взглядом пригласила ее сесть. Майя словно окаменела, узнав зеленый «фиат»... Беспомощно огляделась вокруг... «Кто эта женщина? По какому праву она приказывает мне?» — мелькнуло в голове. Было ясно, что существовала какая-то связь между этой женщиной и ее несчастной

любовью. И, как кролик под взглядом удава, она приблизилась к машине непослушными шагами.

— Садись! — властно приказала женщина.

У Майи не было сил противостоять ее воле, она опустилась на сидение.

В машине все было так же, как и час назад — вот последний том Томаса Манна, свежий номер журнала «Дроша», который просматривала Майя.

Она казалась себе покорной жертвой, приносимой бесчувственным идолам.

Женщина села за руль. Машина сорвалась с места. «Куда она меня везет? Что все это значит?»

Словно чем-то гадким и липким облили Майю. К горлу подступила тошнота, кружилась голова. Миновали одну улицу, другую, промелькнуло здание театра, костел.

Машина резко затормозила у двухэтажного особняка.

«Почему я здесь?!»

— Выходи!

«Ты, несчастный жертвенный ягненок! Покорная раба! Да приди же в себя, наконец, беги отсюда... быстро!»

Женщина достала ключи, решительно открыла дверь, привычно вытерла ноги о половик и вошла. Майя послушно последовала за ней. Зеркало, щетка, дорогой ковер... Она никогда не бывала в этом доме. Невыносимая боль стиснула сердце, ей стало плохо. Только бы не упасть... Надо как-нибудь выдержать!

Из дальних комнат доносились детские голоса и смех. Кругом царили чистота и порядок. В комнате, куда они прошли, стояла дорогая мебель, на полу ковер во всю комнату...

Майя давно уже поняла, кого могла здесь увидеть, но до последней минуты боялась поверить в это. И только теперь, когда она увидела его в этой комнате, страшная опустошенность овладела ею. Она безразлично ждала дальнейших событий.

Он слегка повернулся и взглянул на нее. Взглянул не стыдливо, не испуганно, а с обидой, которая способна убить все живые чувства, нежность, любовь...

— Ну что, узнал?! — раздался голос женщины. В

голосе звенели стальные нотки. — Узнал, я спрашиваю? — повернулась она к мужчине и зловеще сузила глаза. — К чему все это... — наконец-то раздался его глухой, надтреснутый голос.

— Ты же меня уверял, что ее не существует... Вот я и спрашиваю, существует она или нет?!

«О, как низка и отвратительна эта женщина...»

— Перестань! Осталась в тебе хоть капля человечности?!

— Да нет, почему же, ты скажи, может, и правда ее не существует? — торжествовала женщина.

Так и не проронив ни слова, Майя неторопливо вышла из комнаты, прошла коридор, зная, что никто не бросится ей вслед, не попытается вернуть... Как во сне вышла на улицу. Сердце словно окаменело... Все казалось ничтожным и бессмысленным...

Дул прохладный, освежающий ветерок. Куда-то спешили люди. У каждого был свой путь, и никому не было до нее дела...

Майя брела по улице. Вот и храм Баграта... Красный мост... Риони... Вот и знакомая калитка. Со скрипом откроет ее, пошатываясь, пройдет по асфальтовой дорожке, утопающей в георгинах и хризантемах.

С ее появлением будет приглушен звук телевизора, прервется долгий телефонный разговор, а на холеном лице надменной женщины в ярком шелковом халате появится беспокойный румянец.

— Ну,ходи, — жеманно пригласит она.

— Папа дома?

— Подожди, скоро придет...

И начнет развлекать Майю своей болтовней. Недавно они с мужем путешествовали по Франции. Париж... Сена... Лувр...

Сердце сжимается от тоски при виде этой пустой, кокетливой, непонятно почему заигрывающей с ней женщины, которая суетливо раскидывает перед ней заморские тряпки и сувениры... «Если будешь хорошо себя вести, и ты получишь сувенир», — кокетливо бросает она, затем, критически оглядев девушку, добавляет: «Отощала ты что-то». Майю бросает в дрожь от ее цинизма и иронических реплик.

Немного погодя в комнату войдет высокий, сухопарый, самоуверенный мужчина. Прижмет к себе девуш-



жу, расспросит об учебе и, если хозяйка зачем-то выйдет из комнаты, торопливо сунет ей хрустящие бумажки.

Деньги!

Ошибаетесь, батано Амиран! Не деньгами измеряется любовь, уважение и вина! И не деньгами искупается!

Не нужны ей деньги, и заискивающая ласка не нужна. Она ждет ответа на свои вопросы... И не может спросить! Так зачем ей эти люди?! Лучше не нарушать их уединение. Да и ее присутствие нервирует Нинель. Ужин расстроился. Отец жалуется на сердце. Ну а что же ей делать, ей, которую выжали, как виноградную кисть и безжалостно бросили. Растоптали...

— Я вчера не ночевала дома... — спокойно начинает она.

— Что? Как? — спрашивает отец, — где ты была?!

Нинель замерла. О! Какую пищу для разговоров предоставили ей...

— Я обманула маму, сказала, что была у тебя...

«Интересно, поверит, что они всю ночь сидели в машине... Слушали музыку... Затем поехали в Гелати... Поклонились храму... Все было как в сказке... Поверит он или нет?!»

— Ты думаешь, что говоришь?!

«Поверит ли хоть одна живая душа, что она непорочна и чиста? Да что другие, ее родной отец поверит ли? А та женщина, что так безжалостно обошлась с ней? Может, Зура Джанхотэли поверит? Нет!.. Никто ей не поверит!»

— Что ты мелешь?!

— Ничего...

И вдруг она почувствовала, что ни ее прошлое, ни будущее уже не имело для нее никакой цены... Надежда, вера, взаимопонимание — это только пустые слова. Даже взволнованность отца, беспокойство — сиюминутное, преходящее чувство. Как всегда он откупится от нее и успокоится.

— Сегодня мне доказали, что меня не существует в этом мире...

— Да объясни мне толком, что случилось?!

— Так же, как и вы, мои родители, доказывали когда-то друг другу, что меня не существует, — рыда-

ла она, уже не пытаясь сдерживать свои чувства. —  
Но я ведь живу, я ведь существую в этом мире!..

— Что с тобой, Майя, успокойся, доченька!

До чего неприятен этот пожилой человек с одутловатым лицом!..

«Теперь уж поздно», — подумала она.

— Майя!

— Не ходи за мной, папа!.. Умоляю!.. Не надо!..

Разгоряченные губы дрожали, в висках стучало. Сейчас она бы многое отдала за покой и тишину... Но как обрести этот покой?..

...Ей оставалось пройти последний путь... Прийти в свой дом, попрощаться с ним... Нужно сменить платье и белье... Все на ней должно быть новое...

Она не помнит уже, где вычитала, что в 23 года девушки чаще всего прощаются с жизнью... Почему? Что это за роковой возраст? Когда детская доверчивость наконец-то сталкивается с беспощадными тисками жизни?!

Она поднялась в троллейбус. Пассажиры шумели, суетились. Кто входил, кто выходил. В этой суете было что-то обычное и вечное. И всем этим людям не было до нее никакого дела.

Сначала надо увидеть маму... А уж потом идти домой. Так лучше.

Аптека гудела, как растревоженный улей. У кассы выстроилась очередь. Кабинет заведующей был открыт. Оттуда доносились чьи-то голоса. Майя медлила, не решаясь войти. Тут ее отвлек крик худущего, как таранька, длинноносого мужчины, с пеной у рта доказывавшего, что ему как инвалиду войны следует получить лекарство без очереди. Ничего не добившись, он с воинственным видом направился в кабинет заведующей, но вскоре вышел оттуда успокоенный, со смущенной улыбкой.

Мама умела находить с людьми общий язык, хотя характер у нее был достаточно твердый.

Дома она часто жаловалась: больных, что ли, развелось больше или названия лекарств усложнились, а только еле успеваем за всем. Да и врачи тоже хороши — выписывают одному больному по десять разных лекарств!..

Майя заглянула в кабинет. Мать, склонив голову,

что-то писала. Последнее время она жалуется на боль в правом плече и беспрестанно стонет во сне. Что с ней будет?! Кому она будет нужна?! Темные круги под глазами старят ее милые черты. Сердце сжала щемящая любовь к матери... Взглянуть бы на нее... Всего лишь взглянуть! На одно лишь мгновение увидеть родное лицо!

И все же, почему мать так уверена в ней, почему доверяла во всем?! Ведь возраст берет свое, закружат в своем беспечном вихре стремительные безжалостные денечки и...

Майя заглянула в кабинет.

— Майя! Это ты, доченька? Случилось что-нибудь? Да на тебе лица нет, деточка... Тебя что, кто-то напугал?

— Нет.

— Что мне делать, не знаю! Некогда за дитем родным присмотреть! Я несколько раз звонила домой... Где ты ходишь?

В кабинет вошла старинная мамина подруга, провизор Нуца Пруидзе, веснушчатая, с редкими зубами. Обняла Майю, приласкала. Ее халат источал до боли родной запах укропа и валерьяны! Эти женщины, мамины сотрудницы, как родные сестры, помогали матери перенести все ее горести.

Нет, надо бежать от этого родного запаха, от их ласки, тепла, а то...

На ее счастье в кабинет вошел ночной сторож дядя Нестор. Он был слегка навеселе.

— Вы меня вызывали, калбатано Кетэван? — спросил он мать.

— Нестор, ради Бога. будь начеку... позавчера ограбили склад десятой аптеки, унесли морфий и люминал.

— Да что ты говоришь? — удивилась Нуца. — Ну и как, поймали?

— Поймать-то поймали, но они оказались детьми таких родителей, что назвать их фамилии язык не повернется.

— Как раз от таких всего можно ожидать!

— Не волнуйся, начальник, пока я здесь, все будет в порядке! — выпятив грудь, заверил Нестор.

— Ты куда, доченька? — крикнула ей вдогонку мать.

— Скоро вернусь...

В конце аллеи шумела речка. Она была довольно глубокая. Летом бронзовые от загара мальчишки прямо с моста бултыхались в воду, наполняя окрестности веселыми криками и смехом. Сейчас здесь было пусто и холодно. Разве только редкие машины проносились по мосту, и опять все вокруг стихало. Шел дождь. Надвигались сумерки. Майя шла, не разбирая дороги.

— Майя! — вдруг послышалось ей. Неподалеку остановилась машина. Майя замерла. Ноги стали ватными. Все это время ей казалось, что она забыла его и никогда уже не вспомнит. Оказалось, наоборот, все это время она думала только о нем... Он был рядом, он тенью следовал за ней, не покидая ее ни на минуту. И она поняла, что все бы перенесла на этом свете, будь он рядом. Только он был смыслом ее жизни! И кто бы ни встал на пути, забыть его было не в ее власти!

— Майя!

Господи! И все же как мало нужно человеку, чтобы вновь вернуться к жизни! Как она истосковалась по нему! Она ни капельки на него не обижена, ни в чем его не винит! Конечно, нет! Она скажет ему, что любит по-прежнему... нет, еще крепче! Что ни минуты не может без него...

Она даже не взглянула на машину, не поинтересовалась номером. Да и к чему?! Кто бы другой стал ее искать в столь позднюю пору?

Она открыла дверцу и молча села.

— Привет! — хлопнул ее кто-то по плечу.

Майя вздрогнула. За рулем сидел Зура Джанхотэли.

— Гляжу, девушка бежит по мосту... Думаю, что за птичка... А оказалась наша Маечка... Клевая ты девочка! Прима нашего курса...

Сзади захихикали. Майя не видела, сколько там сидело парней, трое или четверо.

— Знакомьтесь, Майя Двали...

Майя не шелохнулась.

— Вот только... — фамильярно обнял ее за плечи Зура, — в последнее время она что-то запуталась. Не так ли, девочка?! А, ну да ладно, ты молчок — и я молчок...

Майя сидела спокойно. Она никогда не боялась это-

го типчика. Недавно он рассказывал девочкам: «Взвесили меня в военном комиссариате, и знаете, сколько я вешу? Сорок шесть килограммов. Врач обалдел, говорит, и как только земля тебя притягивает?» Девочки смеялись над его глупыми шуточками.

Видно, и сегодня он был в ударе... Вот только не нравились ей что-то приглушенные голоса сзади и беспрестанный смех. Раздражал запах сигаретного дыма и коньячного перегара. Кто-то положил ей руку на плечо, приблизил лицо и зашептал строки какого-то стихотворения.

— Чьи это стихи, а? — спрашивает незнакомый голос.

Майя не ответила.

— Ты куда? — повернулась она к Зуре.

— Завалим к одному типу... Пошли с нами...

— Нет! Мне домой надо.

— Да ладно уж «домой»! Пошли с нами, — развязно говорит ей тот же парень и шарит по ней руками.

— Убери лапы!

— Чего ломаешься, другим можно, а нам нет, что ли?!

— Останови!

— Да отстань ты от нее! — одергивает Зура дружка.

Машина остановилась перед белой многоэтажкой. Здание строили по особому проекту. Оно выделялось своими аккуратными балкончиками и белизной среди остальных серых построек.

Для ремонта и благоустройства квартиры в этом здании потребовалось бы столько средств, что не каждый рискнул бы вступить в товарищество этого кооператива. Большинство обитателей дома были людьми с положением. У подъезда красовалось множество легковых автомашин.

— На каком он этаже? — спросил кто-то.

— На третьем...

— Пойдем, Майя! — сжал ей локоть Зура.

Майя пошла с ним. Все происходящее вокруг было нереальным. Еще немного — и все исчезнет, превратится в прах.

Парни с шумом, со смехом поднимались по лестнице. Кто-то открыл дверь. В клубах сигаретного дыма

она с трудом различала присутствующих. Парней было много, мелькали и девушки. Майя никого не знала.

Кто-то снял с нее плащ, забрал сумочку. Посреди комнаты Майя в нерешительности остановилась, ей стало неловко в этой незнакомой компании.

Парни беззастенчиво разглядывали стройную девушку, ей казалось, что они раздевают ее взглядами.

Высокий бородатый парень, тот самый, что всю дорогу нашептывал ей стихи, развязно двинулся к ней. На груди у него болтался массивный крест.

— Станцуем?! — предложил он.

— Не хочу...

— Да ладно, — смерил он ее ироничным взглядом и, не долго думая, схватил, не давая ей возможности вырваться, и крепко прижал к себе. «Не брыкайся...» — шепнул он, еще крепче прижимаясь к ней. Улизнуть от него было невозможно.

Майя не помнила, чтобы хоть один парень посмел с ней так обойтись. Ребята всегда относились к ней с уважением. Так в чем же дело? Только с последней девкой можно так себя вести!.. И если до сих пор она была безразлична ко всему, то сейчас каждое прикосновение этого мерзкого типа вызывало в ней протест.

Она огляделась. В полумраке, прильнув друг к другу, танцевали пары.

Все это было похоже на страшный сон...

Она слегка шевельнулась, не подавая виду, что хочет освободиться от его объятий. Потом быстро дернулась, освободила плечо и выскользнула из рук оторопевшего парня.

В коридоре горел свет. Она не пыталась искать свой плащ в ворохе чужой одежды. Торопливо открыла дверь, ринулась вниз по лестнице, но внезапно ее осенило — догонят, и она стрелой помчалась вверх по лестнице.

Она слышала, как открылась дверь и все выскочили на площадку. «Где она?» — слышался чей-то голос. Майя узнала голос Зуры Джанхотэли. Все побежали вниз. «Майя! Майя!», «Куда она делась, я ее...» — обругал ее тот мерзкий бородач...

А Майя поднималась все выше и выше. Здесь, на последнем этаже, было тихо. Она долго сидела на последней ступени. Вдруг панический страх охватил ее.

Кто-то чуть слышными, осторожными шагами крался вверх по лестнице. Лучше бы он звал, кричал, угрожал...

Майя заметалась, как птичка в клетке, ища выхода... С чердака она поднялась на крышу. Над крышей виднелось небо... На чистом небосводе приветливо мерцали звезды, манили, притягивали. Господи! Какое огромное счастье ждало ее, оказывается!

Все осталось где-то внизу, а с безмятежного и манящего небосвода нисходили к ней умиротворение и чистота.

Ей захотелось взлететь.

И когда в тиши отчетливее раздались шаги, страх совершенно исчез, и ее повлекло к краю крыши.

Она еще раз взглянула на бездонное, безмятежное небо и, распрямив руки, птицей устремилась вниз. Как упавшая с неба звездочка, пронеслась над землей.

А ведь и свет давно угасших звезд доходит до нас...

Перевод Ирины ЗУРАБАШВИЛИ



# ПТИЦЫ ЗИМОЙ

РОМАН

1

Грохотало почерневшее, расщепленное молнией небо. «Мир появился вместе со мной, но вместе со мной не умрет», — подумал я, когда народ мало-помалу потянулся от могилы моей мамы. Успокаивались скорбные лица людей, словно все свои беды они спровадили заодно с землей, которая с глухим стуком погребла утонувший в яме гроб. Светлели подернутые страхом лица, и поскольку деревня отдала дань смерти, всех подстегивало одно желание как можно скорее восстановить временно прерванную связь с жизнью, с надеждами, повседневными хлопотами.

Могильщик Иванэ сложил рядком грязные лопаты и теперь сматывал мокрую веревку — на ней опускали маму. Как его веревка не походила на ту, которую мама, бывало, натягивала на открытой веранде! Завяжет узлом на столбиках, поочередно берет из таза, встряхивает и, приподнявшись на цыпочки, развешивает простыни, наволочки, рубашки, штопаные и нештопаные носки.

Смеялось кипенно-белое белье, только мама была понурой. Снимет с табуретки таз, присядет, поставит его себе на колени и передохнет немного. Виднеются кисти усталых рук, как будто обескровленные и едва дышащие...

Чтобы веревка не спуталась, Иванэ заботливо при-



хватил ее узлом посередине, перекинул через плечо, сгреб лопаты и ушел...

Пять или шесть дней я обретался в непроходимом тумане. Боль напасти, как заправский охотник, следила за мной из дальней засады. Мне уже не вспоминались ни бескровные, прижатые к груди руки мамы, ни ее ласки перед сном — заботливо подоткнув одеяло, она присаживалась ко мне на кровать и не сводила с меня взгляда, будто только что нашла своего сына.

С невыразимой жалостью смотрели мы друг на друга. Потом она наклонялась и легко прикасалась губами к моим отягощенным сном векам.

Туман, как я говорил, держался несколько дней. Хороводили свои и чужие. Их суетливость, ласки, бессловесное сочувствие держали меня какое-то время в плену надежды. Мне казалось, что потом будет, как было, все легко пройдет само собой, но когда туман рассеялся, когда я понял, что все спустятся под гору и около меня не останется никого, кроме нескольких близких, я пошатнулся, будто ступив на край пропасти, что-то оборвалось в груди, резануло по сердцу и кануло в пустоту.

Я стряхнул пелену слез — оплывшие свечки догорали, бессильно поникли головки цветов.

Все спустились, сошли вниз по склону. Впереди вели под руки мою бабушку. Люди двигались группами, один Иванэ шагал на отшибе, особняком, словно общался с людьми только в несчастье, но и тогда не произносил больше двух слов — «Осторожней, не уроните... Опускайте!» — стоя внизу, подхватывая гроб, морщась от натуги, и глаза чуть не вылезали из орбит.

Покойники научили его молчать. «И семейка под стать папаше, такие же буки, один к одному, живым не родня», — замечали деревенские, видя их вместе.

Они и впрямь живут ближе к кладбищу, чем к деревне.

Некоторые утверждают, что могильщик учит детей бесовской тарабарщине, по ночам сажает всех на метлы, и они летают на шабаш, якшаются с нечистью и терзают души наших покойников, оттого вечно и косятся в сторону. Зато моя бабушка любила Иванэ — несчастный, безродный человек: а деревня наша слепа, не

удивительно, что сослепу не отличает хорошего от плохого.

Растянувшаяся процессия ужалась в тесном проулке.

Отдали долг, идут поминать... Да и что они могут еще, что?!.. А мама осталась одна в удушливой тьме. Она умерла, а миру хоть бы хны...

Как она мучилась, тая и угасая в постели. Уменьшившееся до размеров кукольного, обреченное лицо ее едва выглядывало из разметавшихся по подушке густых волос.

Попросили привести меня.

С трудом подняла трясущуюся руку, положила мне на голову, затем ладонь соскользнула на лоб, будто проверяя, нет ли у меня температуры.

«Касатик мой!» — по движению губ я угадал, что она сказала.

Прозрачная бусинка слезы скатилась по темному подглазю и исчезла в волосах... Лицо ее исказилось, она заметалась, жадно ловя воздух, глаза раскрылись еще шире.

— Уведите ребенка! — донесся чей-то голос.

За ним последовал сдержанный гомон, сменившийся рыданием, и уже в коридоре, как булыжник, ударил меня в спину холодный, резкий крик.

Когда я опамятовался, учитель Арчил вел меня, словно инвалида. Мы отошли довольно далеко от нашего дома, но я так и не мог вспомнить, что происходило после крика.

Я ничего не мог вспомнить, все и вся заслонила глухая, высокая стена; я слонялся, точно лунатик, путался у всех под ногами, но никто не одернул меня, никто не прикрикнул, хотя цыкали на мальчишек, помогающих по хозяйству, ругали, кое-кому даже перепало под горячую руку, и они, надутые, как индюки, рубили хворост, сновали с кастрюлями и тарелками. На мою долю доставалась голая жалость, которая порой становилась невыносимой, тогда я забирался на чердак и просиживал там часами.

Вчера я заснул и увидел сон:

Я — маленький. Мама купает меня. Вдруг заходит отец в белой, распахнутой на груди рубашке. Улыбаясь нам обоим, выхватывает меня из таза и как есть са-

жает себе на шею. С меня течет вода, я колочу пятками по его груди, мокрое пятно расплзается по рубашке, мы оба смеемся.

«Спусти его, простудится», — беспокоится мама, держа на отлете забеленные мыльной пеной руки.

Отец целует меня в коленку.

Я гляжу в таз. А там не вода, таз полон черной туги.

«Ешьте, только что вымыла!» — угощает мама. Держа одну ягоду за черенок, она несет ее мне, но папа пятится, и она никак не нагонит нас.

Все привиделось настолько отчетливо, что я даже пощупал волосы — в самом деле меня купали или нет.

Не в силах унять дрожь, кое-как спустился с чердака.

— Кто проклял нас, Господи?! — бабушка не докончила.

— Принеси мне миску с водой и горячих углей, — оборвала ее знахарка Като. Раздумывая о значении моего сна, она, прищурясь, вертела в руке складной нож с черной рукояткой.

Бабушка принесла. Поводя источенным лезвием то над моей головой, то перед грудью, зевая и жуя губами, знахарка бубнила — «изыди, изыди, изыди», потом перекрестила меня и бросила в миску уголья, уже успевшие опухнуть золой:

— Пей!

Я посмотрел на мутную воду, затем поднял глаза на бабушку.

— Выпей, сынок, выпей! — велела та охрипшим от плача голосом. Жалея ее, я сделал несколько глотков.

— Не выливайте, пусть потом еще выпьет! — Като поставила миску на подоконник, сложила ножик, вернула его в платок и сунула за пазуху. — Хороший сон, белая рубашка — правда, черная туга — он скоро вернется, порадеет о вас, Бог не оставит своих детей.

— Не знаю уж, не до нас ему... Думала ли я, что эта горемычная, под несчастливой звездой рожденная... Где он, этот твой Бог?! — вскипела бабушка.

— Замолчи, не богохульствуй... Люди горше твоего видели и переносили...

— Горше моего? Горше этих казней египетских?.. — бабушка встала и постелила мне постель.

Из соседней комнаты доносился негромкий разговор — там последнюю ночь бдели над моей мамой...

— Тебя ищут! — запыхавшийся Георгий, сын могильщика, вырос передо мною. — Я видел, что ты тут остался... Пошли! — он несмело потянул меня за рукав.

— Я с мамой хочу... С мамой... — промямлил я и разревелся в первый раз за последние дни.

Что-то лопнуло в груди, выплеснулось; не уместаясь в горле, раздирая его, с болью вырвалось наружу скопившееся горе. Я упал на колени, замолотил кулаками по мокрой земле... Вязкая глина налипала на руки, кулаки тяжелели, словно каменные...

Я выбился из сил, выдохся, дошел до точки, тяжело переводил дыхание и ощущал на губах соленую влагу слез.

Поникнув головой, плакал Георгий, тер лицо рукавом, ходуном ходила грудь, обтянутая выцветшей рубахой.

Я был поражен: неужели этот стриженный под машинку бирюк способен плакать из-за меня?

Я поднялся, обнял его, и мы, как два брошенных под дождем беспризорных теленка, прижались голова к голове.

Из церкви вышла Тамрико.

— И ты здесь? — обрадовался я.

— Да. Пойдем.

— А мне казалось, что все покинули меня...

Опять полило как из ведра. Спуск развезло. Двухдневный дождь пропитал почву насквозь, юркие ручейки преследовали нас по пятам, ища, как испуганные змейки, спасительной щели, но земля напилась вдоволь.

Наконец наши пути разошлись — мы направились кратчайшей дорогой через поле, а ручьи по тележной колее заскользили к ущелью.

Тамрико оставила нас и побежала домой. Едва мы вошли во двор, дождь прекратился, только небо по-прежнему хмурилось, сверкающими бичами хлестали молнии, гоня на деревню тучи.

— Чуть не на голову садятся! — возясь у котла с мясом, пробурчал лесник Андро, всегдашний наш повар на поминках.

Мы подсели к костру. Пар шел от нашей влажной одежды. Обсохнув спереди, мы подставили огню спины, разомлев от тепла, как кошки.

Тепло напоминало мне мамину руку — лягу я, бывало, в кровати на живот, а она поглаживает меня по спине: «Касатик ты мой, дурачок ты мой пятнистый... Гляди-ка, и здесь, оказывается, есть. Как я до сих пор не замечала. Родинка — счастливая примета, мой мальчик будет счастливым, очень, очень счастливым...» Ладонь ее скользила по моей спине, и, правда, счастливее меня не было никого на свете...

— Сначала женщинам отнесите! — командовал повар помощникам.

Мы по очереди полили друг дружке. Я смыл присохшую чуть ли не до локтей грязь и подтолкнул в спину застеснявшегося Георгия. Проходя мимо открытого окна, я мельком увидел портрет мамы, и мне почудилась легкая улыбка на ее губах.

«Я сегодня снялась, а назавтра ты родился», — часто вспоминала она. Тогда я видел на фотографии ее прекрасные, озаренные радостью глаза, а теперь в них поселились скорбь и удивление. Неужели фотографии тоже меняются? Может быть, они даже плачут, только мы не слышим?

— Где ты был, Дато?.. Проходи, Георгий, садись сюда! — позвала бабушка, и мы втиснулись между женщинами.

Перед нами поставили тарелки, и на меня снова навалились жалостливые взгляды. Я не мог поднять голову, и не будь рядом Георгия, залез бы на чердак и носа не высунул, пока бы все не разошлись.

Потом меня проводили к мужчинам. Учитель Арчил поставил меня рядом с собой и произнес в честь меня тост.

Заскрипели отодвигаемые стулья, и я затерялся среди вставших мужчин. Все заговорили разом.

В первые после смерти мамы дни я еще верил, что эти люди, наша деревня, сотворят чудо, вернут мне потерю, вдохнут жизнь в хладное, недвижимое тело, свершат нечто такое, о чем я слышал в сказках, но потом я понял, что их бесстрашие и всемогущество были враньем, способным обмануть одних несмышленишей. Они никого не могли спасти, потому что перед смертью

все бессильны. Каждый из них боялся умереть, ловчил, напускал туману, им самим было несладко; случись что, они в первую очередь позаботились бы о себе. Поэтому не стоило слушать то, что уже известно наперед, они не откроют мне ничего нового, не вернут жизнь скорбным глазам мамы... Все их речи сводились к одному — заставить меня расчувствоваться, разреветься, рвать на себе волосы, чтобы они могли упиваться собственным краснобайством.

Я проглотил слезы, отвел взгляд от нависших надо мной лиц и уставился на Иванэ — стиснув губы, он сидел в конце стола, замороженно глядя в стакан, и морщины на нахмуренном лбу вздрагивали.

Вернувшись к женщинам, я не застал там Георгия — он помогал повару мыть котел.

Я улизнул на чердак и растянулся на сене.

Шелестел по черепице дождь, капли, как птицы, равномерно клевали крышу.

Мне хотелось побыть наедине с чердачной паутиной, с рассыпанными по ивовой плетенке головками чеснока, с поблекшими, непахнущими цветами, попавшими на чердак с сеном, — с теми, кто не мешал думать.

Слева, со стороны загона, чердак был оставлен открытым. Оттуда забрасывали сюда сено и мякину. За загоном виден дом с верандой, ее голубые перила с ранней весны до поздней осени заставлены горшками с цветами, и все вокруг так расцвечено ими, что напоминает рай.

В этом саду щебечет одна птичка. Если б не она, че взглянул бы на веранду...

Ага, отворилась дверь, выкатили Артему в инвалидной коляске. Старик до пояса укутан теплой шалью, немощные пальцы вцепились в подлокотники, при каждом повороте голова его мотается по спинке; у Артемы белая борода, по-стариковски красивое лицо, чем-то напоминающее то, которое я видел в церкви и перед которым моя коленопреклоненная бабушка просила шепотом: «Снизойди до взывающих к Тебе!».

Тамрико говорила, что у коляски сломалось колесо, — его в самом деле не вывозили несколько дней. Видимо, починили. Думал ли когда-нибудь Артема, что все так обернется? Гарцевал по всему краю так, что земля тряслась, а теперь вся надежда на инвалидную коляску:

будет она в порядке — вывезут, не будет — придется лежать в комнате. И ест с ложечки, и то самое — тьфу — помогают делать другие. Какой толк от такой жизни? Неужели так трудно расставаться с душой?..

Дед мой был плотником. Когда случалась работа, Артема ходил у него в подручных. И ремесло постигал, и кормился.

Но такой промысел скоро набил ему оскомину, он подался в город, закончил там какие-то курсы, обзавелся семьей и воротился в деревню уже председателем. Долговязый неразговорчивый парень так изменился, что... Раздобрел, пояс на талии не сходился.

— Чтоб все как один записались в колхоз, не то узнаете у меня! — В самый разгар сходки выхватил маузер... Пуля, пробив потолок, угодила в стропило и там застряла. Вот каким орлом был, сам черт ему не брат...

Однажды среди ночи поднял моего деда — с летнего пастбища прибежал: бандиты избили пастухов, перерезали скот, бери ружье, идем в погоню.

— Рука не поднимется убивать людей!

— Не людей, врагов народа!

— Все равно, кем бы ни были! — уперся, говорят, дедушка.

Гоня вестника впереди, Артема с милицией долго преследовали бандитов, кое-как настигли, окружили и, как птиц, всех до одного выстрелами сняли с деревьев, на которых те пытались спрятаться.

Трупы сложили на арбу, забросали сеном и привезли в деревню.

Сбежались все от мала до велика.

Артема распорядился доставить фотографа.

Притащили вместе с треногим фотоаппаратом.

Артема сбросил сено, и люди отшатнулись с криком ужаса: на груди оголенных по пояс тел — глаза у убитых были открыты — черными пятнами запеклась кровь.

— Снимай! — приказал Артема побледневшему фотографу, и тот, не смея отказаться, защелкал и с той, и с этой стороны.

Дед мой вышел из себя — кончай, к чертовой матери, как раздел, так и одень и убери с глаз долой.

— Ты! — пригрозил пальцем Артема. — У тебя рука на врагов не поднимается, да?! А ну-ка, сними за-

одно и нас, кто разделался с этой бандой! — опершись о винтовку, он приосанился у арбы.

— На таких — нет, а тебя сейчас прикончу! — вскипел дедушка, кинулся в дом и вместе с гвоздем сорвал со стены ружье.

— Не губи нас! — толкнула его под руку бабушка, и жакан только сорвал фуражку с Артемы.

Несчастный фотограф, бросив аппарат, свалился у ручья, его вывернуло наизнанку.

С той поры он повредился в уме. Все ходил и разговаривал с убитыми. А однажды ночью удавился в хлеву на ивовом пруте...

Мать Тамрико вынесла Артеме еду, видимо, сегодня ее черед. Прикрыла ему грудь полотенцем, села перед ним.

У деда отняли ружье, и самого забрали в ту же ночь.

Семь лет от него не было ни слуху, ни духу.

Он вернулся летом сорок первого. Заплаканная бабушка встретила его:

— На минуту вы разминулись, их только что увезли в военкомат.

— А Леван, он же еще непризывной? — спросил дедушка о моем отце.

— Его и не брали, он сам настоял — где братья, там и я.

Уткнулся мой дед лицом в свои огромные ладони, и заплакал, как ребенок.

— Хоть бы одним глазом взглянуть, какими они стали, я и жил-то надеждой увидеть их...

— Постарел ты, мой Давид, — горько улыбнулась ему бабушка. — Крепись, не радуй супостатов, будто вернулся сокрушаться! — Как рассказывают, бабушка вынесла ему ящик с плотницким инструментом. — Бери свои причиндалы, вон тонэ, приведи его в порядок, а то того гляди на голову мне обрушится.

Ей хотелось отвлечь деда, тонэ еще век бы просто-яло.

Артему накормили, вытерли рот, посадили поудоб-



нее. Унося тарелки, мать Тамрико повернула на ходу выключатель — веранда осветилась.

Вот уже три года как Артеме не подчиняется нижняя часть тела. В тот день, говорят, когда ему стало плохо, отнялся и язык. Привели знахарку Като. Не знаю, ее ли заговор помог или само собой вышло — к Артеме вернулось сознание:

— Като, мочи моей нет, каждую ночь отворяется запертая дверь, заходит Давид с пилой на плече, собирается распилить меня, приставляет к животу, потом передумывает, откладывает ее, вцепляется мне в глотку и душит...

— Будет тебе, сколько лет как Давид умер, что ему тут понадобилось? — успокоила больного Като.

— Ей-Богу? Когда? Почему я не слышал? — обрадовался Артема и напустился на своих. — До сих пор не удосужились сказать мне...

— Вот и уймись... Выпей-ка еще!

Като приподняла ему голову, но стоило Артеме взглянуть на «заговоренную» воду, как он закричал:

— Врете, все врете, посадили его в миску, чтобы он мне зубы выбил!

Артема снова повредился в рассудке.

— С чего это ему все наш мерещится, мало он других обездолил, — заметила бабушка и добавила: — нет, Давид не тот человек, не даст ему покоя, покуда не заберет к себе!..

Дверь распахнули во всю ширь, Артему закатили в дом, видимо, подошло время спать.

Прошло четыре тяжелых года, и когда, казалось, все закончилось, в течение одной недели мы получили похоронки на дядьев. На тех вот улыбающихся близнецов, фотографии которых висят рядом с маминым портретом.

Бабушка надела траур, дед окончательно сломался, слег и уже не вставал. Отвернулся ото всех к стене, только иногда колотил по ней кулаком.

И опять бабушка превозмогла себя, захлопотала по дому, но увлечь деда ей не удалось, только по стуку в стену догадывалась она, как постепенно оставляли силы отказывающегося от еды и питья человека.

Только он умер, приехал из госпиталя мой отец. Вот

так довелось встретиться им после двенадцатилетней разлуки, но остывший лоб деда уже не ощутил тепла дрожащих губ сына.

— Сил моих больше нет, стоило очутиться в этой проклятой деревне, ни одного светлого дня не видела; женись ты, может быть, все тогда образуется! — взмолилась бабушка и, словно в воду глядела, не прошло и года, как отец на чьей-то разболтанной «эмке» привез мою маму.

Когда родился я, бабушка в проливной дождь поднялась в церковь, поставила свечи, на коленях оползла вокруг нее — благодарю тебя, Господи, что не позволил пресечься нашему роду — потом крикнула деду, покоящемуся в земле: — Слышишь, Давид, внук у тебя, бе-долага, внук! — и пошла обратно, не обращая внимания на боль в мокрых, окровавленных коленях.

\* \* \*

С конца сентября до середины октября продержались погожие дни. Некоторое время нам помогал дядя, брат мамы. Мы срезали кукурузу, оборвали пожухлую фасоль, отрясли грецкий орех... Прибрали все, что оставалось в нашем запущенном саду.

Иванэ привез дрова, сгрузил с арбы, приставил к ним меня с Георгием — пилите. И как бабушка ни упрашивала, не вошел в дом, дернул быков и повел за собой.

Станный он человек, даже мельком не посмотрит тебе в глаза. Георгий — копия отца, вечно они ходят порознь, точно в ссоре. Иванэ никогда не повышал голос на сына, но я не замечал, чтобы он ласкал его. Хотя, какое это имеет значение, был бы отец.

На прошлой неделе справляли сорок дней. У меня даже слезинки не выкатилось, и я испугался, что уже не люблю ее, а ночью приснился все тот же сон — мама купает меня, на ней пестрый халат; вода, журча, струится в таз.

Потом мама берет меня на руки, кладет на простыню, закутывает, сажает к себе на колени; оглядевшись по сторонам, расстегивает на груди халат — теплая грудь прикасается к моей щеке...

Я проснулся. Бабушка в ночной рубашке вытирает мне потный лоб. Я бессмысленно гляжу на нее, не в си-

лах сообразить, каким образом с колен мамы перебрался сюда.

— Что тебе привиделось, плачешь и плачешь... Выпей водички, — она подает мне стакан.

Я облегченно вздыхаю — видимо, по-прежнему люблю ее, и сожалею в душе, что в комнату, как в прошлый раз, не вошел отец в белой, расстегнутой на груди рубашке. Знахарка Като говорила, что белое во сне — правда.

Я долго не мог заснуть и думал об отце.

В январе будет десять лет, как я не видел его. Я даже голос его забыл, иногда донесется, как издалека, и пропадет...

\* \* \*

Опять непогода, все время льет и льет. Во дворе развезло грязь, тутовое дерево почернело, листья с него облетели, и стоит оно несчастное-несчастное, даже птицы гнушаются им, все порхают у свинарника в надежде поживиться.

Распиленные дрова мы сложили поленницей в коридоре около давно бездействующего камина.

Завтра чуть свет я должен отнести пшеницу на мельницу. Цкалоба до вечера смеет, после школы заберу муку.

«Расстояние между станциями — 250 километров. За сколько времени пройдут это расстояние пассажирский и товарный поезда, если...»

Когда судили отца, я впервые увидел поезд.

Суд находился за станцией, чтобы дойти до него, надо было пересечь железнодорожное полотно.

Паровоз издали погудел нам — освободите путь; пыхтя и выбрасывая клубы черного дыма, остановился у станции. Мы торопились, и я даже не рассмотрел его как следует, да и нашим было не до поезда.

Когда мы вышли из суда, мама с бабушкой плакали. Насыпь была пуста, поезд ушел. Я пожалел — вот бы увидеть его вблизи, да разве он станет ждать меня...

— Учись, сынок, учись, — вошла бабушка, — дорожке ученья ничего нет.

— Тебе известно что-нибудь о Пифагоре?

— О ком, сынок?

— Следовательно, и его теорему ты тоже не знаешь..  
«О, стыд, где твоя румянец?!» --- подражая учительнице,  
я приставляю ко лбу указательный палец. — Нет, пионерка Бабалэ (Бабалэ зовут мою бабушку), это переходит всяческие границы. Ты позоришь себя, товарищей, школу и, самое главное, позоришь этот священный пионерский галстук.

— Не паясничай! — смеется бабушка.

— Завтра же приведешь родителей, не мать, а отца, отец тебе пропишет, отец! — я хлопнул ладонью по столу.

— Дорогой ты мой, — бабушка целует меня в макушку. — Дома ты куда как боек, вот так бы заливался у доски... Назло должен учиться, сынок, назло им...

Не знаю, с кем соревнуется моя бабушка, но что она нередко «проверяет» у меня уроки — это факт. И не надоедает ей — положит на колени раскрытый учебник и так смотрит на меня, будто все знает наизусть и нечего думать провести ее.

Только вчера она не смогла скрыть удивления, когда я сказал, что в Африке до сих пор живут племена голых дикарей-людоедов.

— Будь они неладны, чему вас учат! — рассердилась она на моих учителей.

— Вот именно, — поддакнул я. — К тому же, не жарят, не варят, живьем лопают.

— Хватит, хватит, помилосердствуй, мне уже тошно...

Давно мы не смеялись. Я оглядываюсь на мамин портрет — не сердится ли она. Мама показалась мне особенно грустной, и улыбка стала еще яснее. Почудилось, что рука ее лежит на животе, и она прислушивается к биению моего сердца — тогда я был в ней.

После этого как будто прошла целая вечность...

Меня понесли в сад. Я оседлал отцовскую шею, как в недавнем сне. Мама с корзиной шла позади. Иногда она щекотала меня, я подпрыгивал и пищал.

Вошли в сад, отец, не дойдя до грядок с помидорами, ссадил меня и сорвал несколько початков кукурузы.

Мама собирала в корзину зеленую фасоль, а тем временем мы наломали сухих веток и разложили костер.

Отец, стоя на коленях, раздувал огонь. Костер по-

началу дымил, ел нам обоим глаза, потом пламя постепенно выбралось наружу, охватило хворост, затрещало, разгорелось.

Мы очистили початки, подсели к костру, а тут и мама пришла, расстелила подстилку, поставила корзину и принялась лущить фасоль.

— Каков костер? — посмотрел на маму отец.

— Великолепный, но если не угостите меня кукурузой...

— Полагается ей? — отец поцеловал меня в отметину от оспы. Я провел пальцем по шраму под его ухом.

— Очень больно было?

— Да, очень.

— Они хотели убить тебя?

— Хотели, да не тут-то было.

— А тогда я где был?

— Ты сидел на дереве и ждал, когда мы тебя снимем, — он подмигнул маме.

— На дереве, я, что птичка?

— Самая настоящая птичка-щобетунья!

— Если бы вы не пришли, меня бы лиса съела?

— Я с лисой и сражался.

— Не с лисой, а с фашистами.

— Ого-го, как испекся! — отец прутом выкатил початок из углей.

Они сидели рядом. Мама прислонилась к его плечу, оба смотрели, как я уплетаю кукурузу, и смеялись. Потом папа поцеловал маму в щеку... Хотя бы кто-нибудь сфотографировал их в тот момент, тогда бы все увидели, какие они были славные...

\* \* \*

Я выгреб навоз и затворил хлев.

Опять этот проклятый дождь. Жалко съезжилась наша деревня. За машиной, с грохотом съезжающей по склону, уже несутся собачий лай и детские крики. И наш пес притих, разве что гавкнет на прохожего из конуры и снова лежит, положив голову на вытянутые лапы, точно задумавшийся человек. Интересно, о чем он думает, и думают ли собаки вообще? Что заставляет их смотреть тебе в руки, как ласку, воспринимать пинки хозяина, угрожающе рыча, сопровождать чужого до

самой околицы. Верность? Страх одиночества или боязнь потерять кусок черствого, заплесневелого хлеба? Скорее всего страх одиночества.

Вот так и я проснулся однажды среди ночи. Прислушался, и мне показалось, что бабушка не дышит. Мыслимо ли не уловить человеческого дыхания в ночной тишине, тем более, что наши кровати стоят рядом?

«Что с ней, неужели?.. Нет, она в самом деле не дышит!» — вспотев от страха, я чуть не рехнулся при мысли, что могу остаться совсем один. Я боялся тронуть ее рукой — а вдруг она и вправду...

Затылок отнялся, словно я грохнулся на камень.

Не повернись она на другой бок, я бы наверняка свихнулся. Едва она шевельнулась, я с подушкой перескочил на ее кровать и устроился в ногах.

— Замерз?

— Нет, с тобой хочу! — от сердца отлегло.

Она простонала и снова погрузилась в сон.

Воют, как правило, бездомные собаки да осиротевшие люди, оплакивая собственное несчастье... Кто знает, может быть, люди и животные отличаются только в счастье, а одиночество одинаково убийственно для тех и других?..

— Господи, не оставь никого без призора! Пресвятая Богородица, святой Георгий, обратите на наш дом и на наше потомство милостивые взгляды! — бормочет бабушка.

Свет в лампе убывает, она еле-еле теплится, словно самая дальняя и немощная звезда.

Я смотрю на лампу и вспоминаю ночь десятилетней давности. Бабушка часто рассказывала мне о напасти, нахлынувшей буйным разливом и унесшей моего отца.

## II

«Никала убили!» — вместе со снежным вихрем ворвалось в дом известие.

— Всю ночь выли окрестные псы! — проронила бабушка, обратившись в слух и глядя в одну точку. Она ждала, что скажет гостя, кто убийца — свой или посторонний.

«Что она молчит, почему без толку комкает шаль на коленях, может быть, может?..» — бабушка содрогнулась всем телом, будто оно пошло трещинами, раскололось, и она изо всех сил сдерживает его, чтобы не рассыпалось.

— Несчастный, говорят, успел сказать, что ударил сын Тваури, и тут же испустил дух. Его, говорят, нашли на краю опопиевского сада, он лежал ничком. Парни наткнулись на него, поначалу решили, что он перепил и не добрался до дому. Перевернули — и, Боже ты мой, — он в кровавой луже! — охая и ахая, хлопала по коленям Дарико, словно вымешивала тесто.

— Боюсь! — заныл я.

— Кого, сынок?

— Того, кого убили.

— Не выдумывай, спи, тебе рано вставать. Мне одной не справиться с такой прорвой дел, — говоря так, бабушка подала знак Дарико — не надо, мол, рассказывать при ребенке, — он у меня хоть куда, не будь его, ума не приложу, что бы я делала...

— Мы все это знаем, — поддержала ее Дарико. — Не в пример моим, если не возьмешь палку — готовы до вечера валяться.

— Наш-то куда запропастился? — бабушка озабоченно посмотрела на дверь. — Чуть свет пришел шури — я свинью режу, пойдём ко мне. Встали они с женой и пошли.

— Как, без Дато?

— Он сам не пошел. Я еще не видела такого странного ребенка: заладил — если ты пойдешь, и я с тобой. Но куда, Дарико, мне с моими заботами?

Послышался шум машины, свет фар пробежал по окнам.

— Прибыли, — привстала Дарико. — Наверняка, милиция.

— погоди, побудь с ребенком! — бабушка схватила шаль.

Ветер утих. Махровые снежинки таяли на разгоряченном лице. Скрипя снегом, бабушка пересекла двор. Припустивший за ней Цуга первым выскочил за ворота и вопросительно уставился на бабушку, когда та вышла к дороге.

— На место! — цыкнула бабушка на собаку.

Помешкала, сердце предсказывало недоброе. «Бог отрекся от меня при рождении», — вздохнула она и ступила на укатанную машиной колею.

Шла моя бабушка, поникнув от горьких дум. Вечные мучения и невзгоды истерзали ее. Было и счастье, однако с той поры столько воды утекло, что она уже забывала, когда и отчего была счастлива. Может быть, тогда, когда Давид остановил арбу у ворот их дома?..

Уложили приданое, ее, застенчивую невесту, усадили на завернутую в палас постель. Давид тронул быков, заскрипела по каменистой дороге арба. На повороте увидела в последний раз заплаканную мать.

Была весна, да, ранняя весна, проклюнулись листья, ветви персиков отливали розовым цветом, и жар солнца еще больше дурманил голову и без того растерянной невесты.

Ехали молча. Давид сидел к ней спиной, время от времени покрикивая на быков, поводя обтянутыми рубахой широкими плечами. Покуда она находилась под защитой этих плеч, она и горя не знала...

Одолели почти половину пути, как затрещала ось, арба днищем заскребла по земле... Когда испуг прошел, она услышала стук катящегося под откос котелка.

На обоих напал смех, безудержный, искренний смех, наверное, единственный за всю их долгую жизнь...

Именно этот день вспомнился ей, когда умирающий Давид, отпустив соседей, взял ее руку, приложил ладонь ко рту, будто хотел удержать покидавшую его душу, воротить ее в измученное тело. Только что остановит душу, когда она решила отлететь...

Потом, чуть откинувшись, остановил взгляд на портретах сыновей и застыл...

Галдеж приближался. Машину занесло, и она боком стояла на дороге.

Трое приехавших на ней совещались о чем-то у забора.

Бабушка по голосу узнала брата Никала, он орал, ругался, бил себя кулаком в грудь.

— Вы, братцы, положитесь на меня, — подскочил он к милиционерам, — это моя забота, я им покажу,



попию их кровушку... Отыгрались, позавидовали, что он не такой голодранец, как они, с размахом жил...

Он перечислил всех, чьей кровушки собирался попить... Перечислил, и у бабушки оборвалось сердце... Она бы упала, не ухватись за какую-то обледенелую жердь.

Толпа топталась, утрамбовывая взрытый снег, казавшийся кровью под красными лучами тормозных фонарей, вид которой взбудоражил смирную, унылую жизнь и разъярил деревню, точно голодного зверя.

Никалиного брата увели домашние. Глохли его угрозы и матерщина.

Бабушка словно ополоумела, ни одна мысль не приходила в голову.

Еще и еще раз упомянули имя моего отца.

— Какая деревня была, начальник, какие соседи, какая спайка... Как замарали нас, какого человека лишили — украшение деревни... Они с ним на ножах были, вот и добились своего...

Начальник, поставив ногу на пенек и потирая озябшие руки, равнодушно кивал егозящему Артеме, словно вся эта история тяготила его.

Бабушка повернула обратно, выяснять было нечего, коли упомянули моего отца — не отстанут, охвостья Никала вцепятся в него мертвой хваткой.

Когда бабушка вернулась домой, Дарико чистила мне яблоко:

— На голову жалуется, кажется, жар у него.

— Этого еще не доставало! — молвила бабушка.

Второпях сброшенная шаль насадкой нахохлилась на стуле.

Прохлада ладони была приятна.

— Обещала мигом вернуться!

— Своевольный ты, дальше некуда, битый день не могла тебя с санок согнать! Дарико, там в шкафу банка с уксусом, намочи лоскуток... И козий жир должен быть... Заездила я тебя.

— Побойся Бога, тетушка Бабалэ, сколько ты за моей ребятней...

Дарико старательно отжала смоченную в уксусе тряпицу, сложила ее, отвела волосы с моего лба и прилепила...

Лицо у меня разгорается все жарче, рот пересыхает

ет, я сплю и не сплю, на миг рассеивается пелена, и глазам предстают лицо бабушки, тронутые ржавчиной никелированные шарики на спинке кровати и портреты дядьев.

— Пить! — через силу пишу я.

Кто-то суетится, слышится бульканье...

— Еще?

— Не-а... Где Цуга?

— В коридоре.

— Впустите, замерзнет он.

Собака садится у кровати и, облизнувшись большим розовым языком, смотрит на меня.

— Ко мне, Цуга, ко мне!

Цуга, виляя хвостом, косится на бабушку — можно ли, и подползает ближе. Я свешиваюсь с кровати и горячей рукой глажу его по голове.

— Довольно, не раскрывайся!

— Дай ей хлеба.

— Сейчас, натру тебе грудь и дам, — бабушка взяла у Дарико миску с растопленным козьим жиром, — под подушкой должен быть платок... Или лучше этот, он теплее, им оберну, — развязала платок, стянула с головы, подала Дарико — сложи.

Распустились длинные волосы бабушки, их белизна резала глаза, я будто видел их впервые. Сжал в кулаке концы волос:

— Они у тебя, как снег, только снег холодный.

— Будет тебе, постой! — стянув с меня до пояса одеяло, под самое горло подвернула рубашку.

— Какая ты красивая!

— Правда, внучек? — улыбка раздвинула ее сжатые губы. Масляные пальцы скользят по моей груди.

Дарико, опершаяся о спинку кровати, прыснула — чтоб вам пусто было, какие вы сегодня...

Вдруг бабушка замерла, присмотрелась к моей груди и, будто убедившись в чем-то, сказала:

— Точно, это она...

— Кто? — склонилась надо мной и Дарико.

— Краснуха пожаловала к нам, краснуха... Ну-ка, проверим на спине.

Я перевернулся на живот.

— Ох ты, сколько высыпало! — поразились Дарико.

— Вовремя подгадала, дай ей Бог здоровья! —  
лицо бабушки светилось печальной радостью.

Я уснул и не слышал, как приходила милиция.

Проводив гостей до ворот, бабушка услышала покашливание. На ее глазах из темноты выскользнула длинная, пригнувшаяся тень и поспешила прочь.

Она узнала ее, это был Артема. И после стольких лет он злым духом все равно шныряет у нашего дома.

«Никак не избавится от давней желчи, опять подбирается, чтобы изрыгнуть яд».

В ту ночь, когда арестовали Давида, он вел себя так же, пропустил милицию во двор, а сам — в сторону, и караулил под соседским амбаром.

«Почему у меня рука не отнялась, когда я помешала Давиду. Влепили бы в него заряд, на том бы все и закончилось. Он, определенно, рожден на нашу гибель, определенно...»

Когда бабушка вернулась, красная сыпь, похожая на почки персика, уже высыпала у меня по всему лицу. Лоб не был горячим, я спокойно дышал в глубоком сне.

— Шныряет и пусть шныряет, чего ты испугалась, кто убил, пусть тот и рвет на себе волосы! — успокаивала бабушку Дарико.

— Эх, они по-другому кроют и шьют, угрожал, дескать, ему, вот и подстроил... Ты всегда была добра ко мне, еще одна просьба...

— Говори, нечего просить.

— Побудь с мальчиком. Я спущусь в Квемосопели, приведу их.

— Куда ты в такую темень, занесет тебя или на зверя наткнешься.

— Это некоторые жрут всех подряд, а зверь знает, кого трогать.

— Давай я с тобой Кола пошлю.

— Нет, нет... Ты только пригляди за мальчиком.

Сунула бабушка под мышку топор и отправилась.

Снега намело по колено. Она несколько раз нагибалась и пальцем выгребала его из бот. В ночной тишине отчетливо слышался женский плач, временами ему вторили мужские рыдания, от которых по коже ползли мурашки. Бабушка с трудом несла сквозь заштрихованную пургой ночь свое скованное страхом тело.

«Голосить надо было, когда этот несчастный тащил в дом несправедное добро. Гоголем ходил по деревне, мог ли тогда подумать, что падет от руки твауриевского сироты?! Только бы моего не впутали».

Как она устала, как изнемогла. Кто первый всадил в эту землю заступ, кто первый обосновался на этом Богом проклятом месте?.. Пусть ее оставят в покое и сын, и друзья, и недруги. Кто ее гонит в такую непогоду, с какой стати, трясясь, тащит она к черту на кулички свои изглоданные горем кости?.. Сколько раз предупреждала — не лезь на рожон, сомнут тебя, ты же и поплатишься, не пример тебе твой отец?

«Вот и поплатился. Кто любит, когда говорят правду в глаза? Никала, если твой и председательский дома — колхозный склад, так и скажите. Мы вынесли войну, а вы кто такие, чтобы разорять нас, — влепил им обоим на правлении».

Кто же проглотит такое — сочинили шитую белыми нитками историю, отстранили от бригадирства. Забегал, протопал дорожку до города, а чего, спрашивается, добился, да и мог ли добиться — за председателем тот еще утес стоит, где уж справиться с ним голыми руками!»

За деревней снег был еще глубже. Она свернула с дороги и пошла напрямик через поле. Пурга замела все вокруг, но, по ее предположениям, она вот-вот должна была уткнуться в мост. Перейдет его, а там до садов Квемосопели рукой подать.

Остались слева гумна и кошары.

«Вернувшись из заключения, Давид посадил там лозу, саженцы выбрал один к одному».

Как его отговаривали — у нас не примется, да он не послушался — самый солнцепек, что ей помешает, — и, как в воду глядел, все саженцы пошли в рост.

Артема как-то подослал человека — собираются строить коровник, и правление, дескать, решило, что самое подходящее место для него — твой виноградник, посему ты его обязан уступить».

А Давид — только что с поля — отдыхал на тахте. Дотянулся с нее до табурета и артемовского гонца как ветром сдуло...

Правление ему не указ, он сам себе и правление, и черт на дьяволе, да и земли вокруг непочатый край...

Артема на время притих, затаился. И лоза надиво хорошела...

Тогда он снарядил Давида на заготовку сена, а сам, не тратя времени даром, послал трактор, и так перепали, изуродовали, сровняли с землей виноградник, что...

Господи, почему он жив, почему ты не уничтожил его род, как ту лозу?!

Дошло до городских властей, объявилась какая-то добрая душа, кто-то увидел, что лоза издыхает, как рыба на берегу, затолкал Артему в машину—чтоб ты ослеп, как у тебя рука поднялась—с криком и скандалом увез, но через пару месяцев Артема выкрутился и вернулся в деревню...

Несчастный Никала не сын ему, не племянник, но не отличишь... У них, видать, в душе по одинаковому черту сидит, вот и крутятся, одинаково зачумленные».

Бабушка замерла в удивлении — не заметила, как оставила позади и поле, и мост и уткнулась в кладбище.

С минуту передохнула — еле держалась на ногах от усталости. Неподалеку что-то зашевелилось, бабушка вгляделась — у чьей-то могилы лежала, свернувшись клубком, собака.

Почуяв человека, заскребла снег передними лапами, вытянула морду, и вместо лая из горла вырвался хрип.

— Чья ты, бедняга, чья?

Собака, скуля, всхлипнула. Бабушка поняла — эта черная овчарка пришла на могилу хозяина.

Она присела, погладила ее по вздрагивающей спине. Собака затихла у ее ног.

«Животным куда труднее», — подумала бабушка и больше, чем неведомого хозяина, пожалела четвероногую тварь, не забывшую милость поданного куска хлеба.

— Пойдем, Цуга, пойдем, не то замерзнешь, — и поднялась.

Собака не шевельнулась.

Зайдя во двор, бабушка посмотрела на освещенное окно. За незадернутой занавеской она увидела моего отца и сразу успокоилась, обмякла, ослабла настолько, что не хватило сил войти в дом. Очень обрадует их, если за-

явится. Хотела повидать сына — повидала, цел и невредим, ужинает с родственниками, смеется и, по всему виду, доволен.

«Зачем я потащилась?» — Однако, не повидав его, она бы вся извелась, какво маяться бесконечную зимнюю ночь?

«Как отяжелел проклятый топор!»

Долго стояла она, поникнув, уставясь на свои чернеющие на белом снегу блестящие боты.

«Как-нибудь доплетусь, пусть эту ночь проведет с легкой душой», — она бесшумно притворила калитку.

У кладбища по-прежнему сидела собака. Заслышав бабушку, она поднялась, отрусилась и увязалась за ней.

Мороз прихватил коркой снег. Облезлая лиса перебежала дорогу в нескольких метрах от них. Собака с лаем припустилась за ней, но, будто одумавшись, вернулась обратно и снова побрела за бабушкой...

Около самых сараев бабушка услышала лай и обернулась. Собака изрядно отстала.

— Пошли, пошли! — поманила ее бабушка.

Собака не шевельнулась.

«Уж не ногу ли повредила?» — бабушка направилась было к ней, но собака, гавкнув напоследок, затрусила обратно.

Бабушка долго провожала ее взглядом. Собака пересекла поле наискосок, опустив морду, она шла по следу.

«Подумать только, проводила меня до деревни», — безысходная жалость защемила сердце, такая же, как много лет назад, когда младший брат бросил в тонэ ее куклу с продавленным носом, и та сразу вспыхнула и сгорела на раскаленных углях. Она села на пол, глаза налились слезами. Мать с грехом пополам подняла ее:

— Кто же женится на такой плаксе, состаришься в родительском доме, что тогда с тобой станется, — посадила к себе на колени, вытерла глаза шершавыми от присохшего теста пальцами...

И никогда больше она не плакала такими праведными слезами. Видимо, все в жизни случается единожды, один-единственный раз, а остальное бродит вокруг да около того первого и единственного раза. Поэтому бабушка поразилась, ощутив на глазах влагу. Ей дума-

лось, что источник слез пересох там, в раскаленном то-  
нэ, а оказалось, что он еще жив, и она способна оро-  
сить ими свое увядшее, осунувшееся лицо.

Собака превратилась в точку. Скоро и точка пропа-  
ла.

\* \* \*

В коридоре бабушка отряхнула шаль от снега, на-  
шла в кармане спички и зажгла одну, чтобы не испугать  
в темноте ребенка. Отпустила Дарико. Заметила беспор-  
ядок в комнате, но убираться не было сил, она чуть  
не засыпала на ходу. Подложила в печку дров и при-  
корнула у меня в ногах, боясь, как бы я не раскрылся  
во сне. Лежала, но сон не приходил, только глухо, тя-  
гуче, неотвязно мозжили суставы. Не находя себе места  
и опасаясь разбудить меня, она встала, надела шле-  
панцы, постелила на тахте, достала из духовки  
горячую черепицу, завернула в тряпку, положила в но-  
гах и легла. Бабушка проснулась — ноги лежат на ост-  
ывшей черепице, зубы стучат от холода.

В хлеву мычит голодная скотина. Я сижу в постеле,  
листая книжку с картинками.

— Давно проснулся?

— Да, — отвечаю я, не поднимая головы.

— Есть хочешь?

— Не только я, но и теленок с Цугой, — не забываю я «приятелей».

Услышав свою кличку, Цуга вылезает из-под кровати, потягивается и смотрит на бабушку, стоящую на коленях перед печкой...

Бабушка быстро накормила нас. Потом вытерла мой перепачканный яйцом рот, поставила миску с жареными тыквенными семечками — грызи.

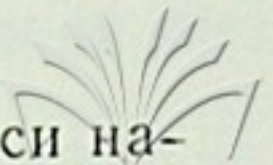
Как по заказу, объявилась знахарка Като: Дарико сказала, что у тебя краснуха, вот и принесла гостинец — яблоки и чурчхелы.

Пришли мама с папой. Едва взглянув на них, бабушка поняла, что им все известно. Мой отец с порога отдал ей пальто и снял пилу.

— Отдохнул бы сначала, сынок.

— Кто-нибудь одалживал ее?

— Нет.



34135320  
30200101033

— Надо думать, Дато напроказничал... Принеси на-  
пильник.

— Станный человек, нашел время! — упрекнула  
мама.

— Позови его! — мне стало обидно, что никто не  
спросил обо мне.

— Зайди, ребенок тебя зовет! — выглянула за дверь  
мама, торопливо застегивая халат.

— Я должен, сам он не соизволит выйти?

— Он лежит, у него, оказывается, краснуха.

Папа пришел.

— А ну, покажи! — он натянуто улыбнулся.

— Я с тобой в ссоре! — отвернулся я к стене.

— Почему?

— Потому!

— А все-таки, все-таки? Ломаем зубья у пилы и  
вдобавок дуемся? — пощекотал меня, и я залился сме-  
хом. — Что с нами будет? У него зубы выпадают, ста-  
реет наш мальчик.

— Один он вчера в хлебе оставил! — бабушка по-  
ложила в духовку тыкву.

— Зачем плакать, ты же мужчина.

— Подожди, она обещала, что у меня вырастут  
фарфоровые... Правда, бабушка? Папа, папа, послушай.  
— вчера Никалу убили!

Стало тихо, все трое напряглись, словно впервые ус-  
лышали эту новость. А может быть, потому, что дико-  
винно слышать о таких ужасах из уст ребенка...

Около полудня «газик» почти врезался «рылом» в  
наш забор.

Отец накинул пальто и вышел.

Женщины, будто в воду опущенные, смотрели друг  
на друга.

Я притих, чувствуя, что происходит что-то тревож-  
ное, чреватое опасностью.

Как тянулось время до возвращения отца!

— Что говорят? — вскочила мама.

— Должен ехать с ними...

— Ты?.. Ты при чем?

— Все выяснится, вечерним автобусом вернусь.

— Ты скоро приедешь? — волнение старших пере-  
далось мне.



— Скоро, сынок, скоро, — он наклонился. — Куда тебя поцеловать?

— Ты колючий! — прошептал я, проведя рукой по его небритой щеке.

От него пахло снегом, холодом, табаком. Тогда я не знал, что этот запах будет часто вспоминаться мне. Отец поднялся, но я, не дав ему выпрямиться, обвил шею руками и крепко сцепил пальцы:

— Не пущу тебя!

— Меня ждут.

— Тогда с одним условием.

— Говори.

— Мерил, мерил, да так и не смерил, что это?

— Сколько можно отгадывать?

— Отгадай еще.

— Дорога.

— Молодец! — похвалил я его и подтянул одеяло.

Только они вышли, я бросился к окну. Женщины стояли у ворот, глядя вслед спускающейся под гору машине.

В тот год я пошел в первый класс.

\* \* \*

Дядя привез сена. Бабушка успокоилась, а то все сетовала, что зимой наша скотина с голоду ноги протянет. Мякина у нас запасена, да толк от нее не тот, что от сена.

Мы с Георгием скинули ее с машины, разбросали по загону, подсушили на солнце, не дай Бог отсыреет, заплесневеет и сгниет.

Когда я вернулся из школы, сено убирали на чердак. Наверху стоял Иванэ с веревкой, бабушка связывала охапки и отправляла ему.

Я бросил сумку, отнял у бабушки вилы, нагреб, а тут и веревка спустилась, крутясь в воздухе, как змея. Отпрянув, будто прикоснувшись к нечисти, я разжал руку — это была та самая веревка, прочная, туго скрученная, гибкая, с узлом на конце... У меня заложило уши, руки отнялись. Я вспомнил, как, исполнив свой долг и выползши из могилы, она растянулась на траве.

«Может, та грязь еще не стерлась с нее, может...»

— Завязывай, чего ждешь... Оглох, что ли? — ух-

взтившись за косяк, Иванэ нагнулся и в нетерпении устоялся на меня.

«Хоть бы сверзился!» — кипя злостью, пожелал я ему, но за что я на него взъялся — не он, так другой, не оставлять же покойников непогребенными.

— Почему именно эту веревку?..

— А? Не понял, что ты сказал?

— Почему, говорю, принесли эту веревку?

— Не знаю, — он растерянно посмотрел на намотанный на руку конец. Потом до него дошло, он с силой провел ладонью по лицу, словно собирался придать ему гладкость яйца. — При чем тут веревка? — Он свесился еще круче; я подумал, что теперь-то, наверняка, шмякнется. — Поднимись, что-то скажу.

Когда я влез на чердак, он сидел, прислонившись к косяку и, свесив ноги наружу, курил. Помолчали. В загоне копошились куры, смешно бегали друг за другом, лишь петух вальяжно расхаживал. Наконец он мощно взмахнул крыльями и взлетел на забор. Куры кудахта-нием выразили свой восторг, петух загордился еще больше, напыжился, настороженно сверкая глазами.

— Почему ты так нехорошо посмотрел на меня? Не отпирайся, чему-чему, а читать в чужих сердцах я научился.

— Откуда вы знаете, о чем я думал? — сморщился я от неловкости.

— Чего тут знать, у тебя на лице все написано. Ты еще не приноровился каменеть лицом, да и приноровишься ли вообще — вопрос; в тебе кровь твоего блаженной памяти деда Давида, он таким был, как бритвой, бывало, отбреет, не любил юлить... Ты меня слушаешь?

— Слушаю.

— До того, как обосноваться тут, мы жили в горах, вон за тем перевалом моя деревня...

Отец мой был пастухом, бедным пастухом, всю жизнь он мечтал всласть выпастись дома. В каждой деревне есть свой душегуб, и наша не обошлась без такого — повадился один проходимец, разорил нас, пустил по миру — в наше время, мол, горы и доли должны сравняться, а вы все богатеете... Какое у пастуха богатство, мяса и хлеба нам хватало, вот и все.

Но человек сам роет себе могилу — когда у нас ничего не осталось, и нечего стало отнимать, тот глаз по-

ложил на отцовский кинжал — его, дескать, тоже обязан сдать нам.

— Этот пояс с кинжалом, — ответил отец, — принадлежали еще отцу моего деда...

— Да хоть самому царю Ираклию!

— На, хватай, скотина! — отец по самую рукоятку всадил кинжал ему в грудь, выскочил в окно и скрылся.

За несколько лет он навестил нас раза два-три, да и то по ночам, — жалкий, заросший... Наконец мы узнали, что его с товарищами убили в ясеневом лесу, выше солончаков...

У меня заколотилось сердце.

— Кто убил?

Иванэ молчал.

— Кто его убил? — вцепился я в локоть могильщика.

— Тот, кто уже три года валяется ни живой, ни мертвый...

— Так из тех троих...

— Да, одним был мой отец... Я даже Георгию не показывал, — он расстегнул нагрудный карман и достал завернутую в бумагу фотографию.

Я зажмурился. Снимок был такой страшный, что я не решался дотронуться до него.

Они в самом деле лежали голые.

— С этого края — мой отец. — Иванэ показал пальцем.

Удивительно, как он различал их, убитые были похожи, словно близнецы.

— Где вы ее достали? — через силу спросил я.

— Достал! — горько усмехнулся он. — Другой отцовской карточки у меня нет, спасибо за нее Артеме, уважил меня.

— А дальше, что было дальше?..

— Ничего. На людях мы с матерью улыбались, а дома плакали. Кто бы нам простил, начни мы оплакивать разбойника. Сюда выдали замуж мою тетку, от нее и узнали, кто убил. Собрал я пожитки, взял мать и переселился к тетке... Я намеревался под корень вырубить его род, истребить всех до одного, но в тот год меня забрали в армию. Только я отслужил, началась война. Мы готовились ехать домой, а нас усадили в эшелон — и на Украину. Всем тогда приходилось туго,

кусок хлеба ценился на вес золота, так забуду ли я доброту твоего деда? Когда умерла моя мать, он своими руками сколотил ей гроб и честь честью похоронил. Да еще камень обтесал и положил. Расспроси-ка свою бабушку, она лучше меня знает. Вернулся я, обзавелся семьей, пошли дети, не мог обездолить их, так и не вцепился в его смрадную глотку. Злоба, однако, не угасла. В вашу деревню привела ненависть, и покуда не утащу его туда, — Иванэ ткнул пальцем в сторону кладбища, — покуда не удостоверюсь, что он окошел, нет мне покоя... А тогда я буду хоть хохотать, слышишь, тогда! — Он яростно ударил кулаком по косяку, и крыша вздрогнула.

Иванэ тяжело дышал, его лицо еле успокоилось.

— Ни я, ни моя веревка тут ни при чем, где было знать, что твоя мама... Мы ждали его, того, который три года гниет в постели... — он поник головой.

— Эй, тащите! — слышалось снизу.

Георгий, бесшумно подкравшись, связал сено и смеется.

Я не мог прийти в себя. От исповеди Иванэ у меня разболелась голова, ум зашел за разум. Наверное, за всю свою жизнь могильщик не сказал столько слов.

«К чему выставлять десятки горшков, пускать цветочки по веранде, кому они пудрят мозги, будто он всегда так сидел, будто за всю жизнь мухи не обидел; пожалейте, снизойдите до убитого судьбой старика. Что, мол, за напасть, откуда нам знать, кто сфотографирован с убитыми, что общего между этим апостолом и напыжившимся у арбы горлохватом; вы ошибаетесь, милые, мы чисты и правы перед Богом и людьми!.. — вот о чем они кричат, когда обхаживают свои цветики, поливают их, лелеют...»

— А ты еще собираешься породниться с ними! — Иванэ поднял последнюю охапку и сбросил веревку Георгию. — Тамрико, правда, хорошая девочка, диву даешься, как среди них мог появиться такой ангел, однако...

— Не ругайте ее! — умоляюще остановил я его.

— У тебя не шутейное, брат, дело! — осекся он. — Скажи мне, и Георгий в кого-нибудь влюблен?

— Откуда я знаю! — потупился я.

— Не возьму грех на душу, не рассержусь, наобо-

рот, буду рад, что мой парень проснулся, ощутил радость жизни.

«Выведать хочет?» — засомневался я.

Иванэ догадался, о чем я подумал.

— Меня правда интересует, Дато. Я же поклялся, чего тебе еще... Кто способен любить, у того сердце полно доброты. Неужели мало того, что ненависть сожрала меня? — он стукнул себя по карману.

— Страшная фотография, лучше бы не показывали.

— Я ее спрячу, не буду больше носить, от нее у меня душа обуглилась и почернела... Только открой мне...

— В учебнике математики на тридцать третьей странице у него написаны имя и фамилия.

Иванэ расцвел; волнуясь, он стряхивал приставшие соломинки.

— Спускайтесь! Бабушка ворчит, что обед стынет, — в люке чердака показалась голова Георгия.

Могильщик преобразился на глазах. Не стал, по обыкновению, отнекиваться. Полил нам, умылся сам... Сели за стол — улыбка не сходила с его лица.

— Ну, царь Несмеян, раз уж ты в настроении... — бабушка поставила перед ним бутылку водки.

Георгий удивленно смотрел то на одного, то на другого. Когда захмелевший Иванэ нагнулся и поцеловал его в лоб, он покраснел и с такой благодарностью взглянул на отца, что я прослезился от радости.

Но тут же мне стало тоскливо, нестерпимо захотелось, чтобы мой отец сидел рядом. Снова выступили слезы и, чтобы скрыть их, я опустил голову, уткнулся носом в тарелку. Иванэ все понял, сочувственно похлопал меня по плечу, нагнулся, собираясь поцеловать меня и...

— Бабалэ, взгляни-ка, у него две макушки!

— Не может быть! — привстала бабушка.

— Вот одна, вот другая!

— Ой, и впрямь две! — бабушка поцеловала меня в обе. — Как до сих пор не замечала?

— А у меня, пап, у меня? — Георгий подставил свою голову.

— У тебя одна... Плохи его дела...

— Да хоть три, что такого? — недоумевал я.

— Значит, будет две жены... Зачем тебе две, ты что, мусульманин?.. Бабалэ, Дато в самом деле ваши или?..

— Мы его на обочине нашли, лежал, завернутый в тряпье, и хныкал... Так что, не знаю... — поддержала его бабушка.

— То-то я удивляюсь!.. За ваше здоровье, дети! — посерьезнел вдруг Иванэ. — Не будь вас, мир давно бы перегрызся насмерть...

Я проводил их до ворот. Когда Георгий ушел вперед, могильщик повернулся ко мне:

— Значит, на тридцать третьей?

— Не ближе и не дальше!

— Ах, вы, черти! — пощекотав меня под мышкой, он двинулся следом за сыном...

«Какие две макушки, что они выдумали? — я долго вертелся у зеркала и так, и эдак, но кто видел свой затылок? — Глупости, — наконец решил я, выложил из сумки книги, но, что ты будешь делать, читаю, а в голову ничего не лезет, мысли заняты двумя макушками. А я вовсе не хочу думать о них. — С какой стати я должен жениться дважды?.. Э, что ломать голову заранее?.. А все-таки, все-таки?.. — гложет меня червь любопытства. — Что, все-таки, может случиться?.. Или мы разведемся, или она... умрет...

Прихожу однажды домой и вижу Тамрико со сложенными на груди руками. Дети (наши дети) режут, она покоится вся в цветах, на пальце у нее красивое кольцо с голубым камнем, то самое, про которое бабушка говорила, что бережет для моей жены... Я порываюсь покончить с собой, меня ловят, связывают, прикручивают к столбу...» Я плачу уже не мысленно, а всерьез. Мне жалко Тамрико, детей, самого себя, плачу потому, что у меня две макушки, и я вынужден жениться на другой...

— Ма-а-ма! — рыдают дети, когда та, другая, порет их кнутом.

— Ма-а-ма! — плача навзрыд, шепотом взываю я к портрету, уверенный, что приедет отец, и, скорее всего, другая станет натягивать веревку между столбами, только у нее не будет таких родных, усталых рук.

Отвел душу. Откуда у человека столько слез, кто

додумался называть слезы горем, а смех — радостью, разве не может быть наоборот?..

— Бабушка, сколько макушек у папы?

— Какие там макушки, я уже забыла, как он сам выглядит... В школе ничего не спрашивали? — перевела она разговор.

— Спросили, как изволит поживать досточтимая Бабалэ, давненько мы не едали ее хлебка.

— Я серьезно спрашиваю!

— Я тоже серьезно, чтоб я больше не видел, как ты ходишь к Ангелине печь хлеб.

— А что прикажешь делать, — у тебя с русским плохо — вот и стараюсь потрафить ей.

— «Он даже на тройку не может выучить!» — вскакиваю я. — «Давид, почему ты не приготовил урок?»

— передразниваю учительницу. — Почему сама не «приготовит» себе, руки бережет, кухарку нашла?

— Ах, ты, петушок! — обняла меня бабушка. — Отчего у тебя заплаканные глаза?.. Пусть у твоего отца будет девять макушек, пока я живу, сюда ни одна женщина носа не сунет.

Мне приятно и обидно за отца — мы как будто сговорились, обособились, оставили в одиночестве моего отца, вынеся ему приговор до того, как он ступил на порог...

— Только бы приехал... Потом пусть сам решает...

— Приедет, милый, приедет, он же летом писал, что через несколько месяцев, если ничего не случится...

— Когда я прочитал письмо маме, она сказала, что он ее не застанет. Сердце, наверное, ей подсказывало...

— Эх, горемычное сердце!

\* \* \*

Плохо ей стало в одночасье.

«Живот режет», — согнулась мама и не могла выпрямиться. Месяц промучилась, ничего не помогало, похудела, высохла. Потная металась в постели, жалко стонала, едва переводя дыхание. В больницу идти не соглашалась, думала, пройдет, но когда стало невмоготу, решила и попросила нас вымыть ей голову. Мы поставили таз около кровати. Разбавили воду в ведре. Свесившись, она с трудом расчесала волосы. Я поливал, а бабушка намыливала... Вытерли голову, я выплеснул

воду из таза и принес его обратно. Бабушка задернула занавески и выпроводила меня из комнаты... Отвезли ее в понедельник, а в пятницу покатали на каталке в операционную. В больнице на нее надели серый халат, голову повязали платочком. Она уже не стонала, только прижимала к животу бледные, с выступившими венами руки.

Я провожал ее по коридору. Повернув ко мне лицо, она смотрела на меня, будто из бесконечной дали.

— Ты не боишься?

— Я? — вопрос удивил меня.

— Да... Не бойся... Ты плохо выглядишь, почему? Моей заботы не хватает?.. Забери бабушку и спуститесь во двор. Не ждите здесь, а то я буду волноваться еще больше.

Мы подъехали к операционной.

— Дальше с ней нельзя! — вежливо остановил меня вышедший из дверей мужчина средних лет в белом халате. Обняв меня за плечи, отвел на несколько шагов. — Я приложу все силы... Я постараюсь... Положение серьезное, я уже предупредил твою бабушку... Все, что от меня зависит... Ты слышишь?

Машинально кивая, я на самом деле не слышал ни слова, только чувствовал, что участливое обращение врача разозлило меня. Лучше бы он раскричался, выставил меня вон, обругал дежурную — почему, мол, здесь посетители, кто их впустил, — только бы не обнимал сочувственно, только бы не говорил, что приложит все силы. Я вспомнил, как ветеринар, глядя на отравившуюся буйволицу в загоне, засучивая рукава, произнес такие же слова... Когда мы с бабушкой пришли в дом к какому-то человеку незадолго до того, как отцу вынесли приговор, он тоже пообещал, что приложит все силы... Ни один из них ни черта не сделал... Что будет теперь?

На ватных ногах я шел вдоль стены. В длинном коридоре застоялась духота. В конце его было открыто окно, и ветер вздувал грязные шторы. Там смеялись двое больных в таких же серых халатах без пояса. Я еле доплелся до скамейки в тени дерева. Бабушки не было видно, она, наверняка, осталась в палате. И слава Богу, сейчас мне никто не был нужен, даже я сам...

Последнее письмо мы получили, когда маму уже вы-



писали. Радостный, я прочитал ей его, она взяла у меня листок:

— Принеси мне воды из ручья.

Я схватил кувшин, но, выйдя во двор, еообразил, что ей хотелось побыть одной. Подкравшись к окну, тайком заглянул в комнату. Прижав письмо к лицу, мама плакала.

В конце августа у нее снова начались невыносимые боли, и я понял, что седоватый, внимательный врач не смог помочь... Письмо мы положили к ней в гроб. Сколько раз я читал его, но почему-то не помню ни единого слова... Может быть, мы и не получали его, нам просто приснилось? Может быть, все — длинный, кошмарный сон, и в один прекрасный день мы проснемся и поймем, что мучились зря?

Прозвенел звонок. Все повскакивали. Тамрико направилась было ко мне, собираясь что-то сказать, но заметила брата — он стоял в дверях и свирепо пялился на нас. Опустив голову, Тамрико отвернулась от меня. Когда она проходила мимо, братец так окрысился на нее, что я еле сдержался, чтобы не влечь ему. Что бы он ни говорил мне, я стерплю, но... Пусть лучше перестанет орать на Тамрико и отвешивать ей подзатыльники!.. После уроков, как памятник, окаменеет у входа и конвоирует ее до дому, не позволяя посмотреть в сторону.

Учитель Нико с улыбкой следит за нашим безмолвным поединком. Мы вместе с ним выходим из класса.

— Спешешь? — спрашивает он.

— Нет.

— Заглянем ко мне, потом наведаемся к Арчилу.

— Он все копает?

— Да, по-моему, скоро вылезет головой в Тихий океан, — смеется учитель.

\* \* \*

Нико не из наших. Он приехал в январе прошлого года. Учитель Арчил тогда решил — ты занял мое место в школе, занимай и здесь, и уступил ему одну комнату.

На весенние каникулы Нико поехал к матери в город, а вернулся женатым.

Я встретил их на автобусной остановке. Взвалил на себя тук с постелью, а они тащили чемоданы. По доро-

ге наши здоровались с ними, поздравляли, жали им руки, а они краснели. Пожитки сложили во дворе.

— Ты, Тина, посиди немного, неудобно приглашать тебя в неубранную комнату, — сказал Нико, и мы с ним на скорую руку принялись наводить порядок.

Тина терпеливо ждала, когда ее позовут, но, увидев Нико с веником и совком в руках, она решительно встала с чемодана.

— Ты меня перед всеми позоришь!

— Перед кем?

— Отдай, отдай! — она отобрала у него совок.

В щели забора подглядывали несколько любопытных пар глаз.

— Вышли бы на минутку, вы мне мешаете... Понадобиться, позову.

Не минуточку, а, по-моему, не меньше часа не позволяла нам заглянуть в комнату. Да и сама всего пару раз промелькнула перед нами: сначала вынесла мусор, потом выбросила барахло. Мы не знали, что происходит в доме, только слышали, как все там звенит и трясется. В довершение всего она сорвала с окна ветхие занавески, и Нико улыбнулся:

— Эх, прощай, спокойная жизнь!.. Мы прогуляемся, — сунул он голову в открытое окно.

— Прекрасно сделаете! — чмокнула его в висок Тина.

— Пошли, проведем нашего археолога.

Археологом Нико называл учителя Арчила, хотя тот никакой уже не учитель — пенсионер. Он тоже преподавал нам историю. В молодости Арчил учительствовал в Квемосопели, потом у нас открыли начальную, ставшую вскоре восьмилетней, школу, а его назначили директором. Два года назад школу преобразовали в десятилетку, и я избавился от ежедневных хождений за три-четыре километра. Арчил преподавал еще моим родителям, следовательно, годился мне в деды.

Человек он странный, подвал у него забит горшками, дырявыми медными котлами, ложками, монетами, ржавыми кинжалами. В последнее время он взялся за развалины у кладбища — здесь некогда стояла крепость, защищавшая наш край: не может быть, чтобы в земле не осталось чего-нибудь интересного. И копает он, копает в своем выгоревшем, соломенном «цилиндре».

Иногда ему помогают Нико или Иванэ, но ничего обнадеживающего он пока не обнаружил, откопал только большущую кость и заботливо пристроил ее на полке.

— Это голень, если не мамонта, то какого-нибудь гигантского чудовища. Вот здесь крепилась стопа, а отсюда начиналось колено... Глубь истории, может быть, непостижимая для взгляда...

Деревня, как водится, подтрунивала над чудачеством старика: один принес ему куриный клюв — рыл, мол, фундамент и нашел, что это может быть?

— Это, братец, приспособление времен матриархата для очищения расчески от перхоти, а ты отнеси его своему отцу, пусть он чешет им свои шелудивые пятки.

Работая, мурлычет под нос песенку, пробует раздавленную в пальцах глину и лелеет надежду, что оживит прошлое для всех людей нашей деревни...

— Я приехал с женой, — сказал ему Нико, и Арчил тут же выкарабкался из ямы...

Мы вернулись обратно — Тина уже и комнату прибрала, и ужин сготовила. Все так блестело, что Нико недоверчиво огляделся — не попал ли он в чужие хоромы.

С той поры я у них частый гость. Сердце тянется туда, где тебя любят. В последнее время я стараюсь пореже заходить к ним: Тина чересчур жалеет меня, ей вечно кажется, что я хочу есть; если я невесел, у нее слезы наворачиваются на глаза.

Недавно привезла из города новенькую школьную форму:

— Моему племяннику оказалась мала, я и прихватила с собой, подумала, может быть, Дато подойдет... Примерь-ка... Как ты думаешь, Нико, ему хорошо будет?

— Не знаю, не подойдет, отдадим другому, — улыбнулся тот.

Не требовалось особой смекалки, — они морочили мне голову. Сколько трудов им стоило уговорить меня взять купленную ими сумку, так на сей раз решили схитрить — никакого племянника у нее нет, одна племянница, она забыла, что я знаю.

— Ой, разве я сказала племянник? — смутилась Тина. — Я хотела сказать — двоюродный брат, сын моей тети Като... Куртка ему ничего, а брюки короткие.

— Надевай, надевай! — всучил мне форму Нико.

Опустив голову, я направился к двери, но Тина схватилась за ручку и преградила мне дорогу:

— Матерью тебя заклинаю, не обижай нас.

И оба отвернулись — мы, дескать, не смотрим...

Я надел форму, взглянул в зеркало и понравился сам себе.

— Посмотри, каким он стал! — вертели они меня.

Не племяннику и не двоюродному брату покупали... Мой размер.

— К ней еще бы новые ботинки, и — как картинка, правда, Тина?

— А вот и они! — она сдернула крышку со стоящей на полке коробки, и в той заблестели черные ботинки.

— Они вашим тоже малы?

— Малы! — оба закатились смехом.

— Видишь, его не проведешь! — Нико сложил старую мою одежду, завернул в бумагу и сунул мне под мышку.

**Продолжение следует**

**Перевод В. ФЕДОРОВА-ЦИКЛАУРИ**



Акакий БАКРАДЗЕ

## УКРОЩЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

### ПОИСКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ

Когда молодой Илья Чавчавадзе возвращался из Петербурга на родину, он задал себе вопрос:

«...Как встречу я со своей страной, и как она встретит меня, подумал я. Что скажу я моей стране нового, и что она скажет мне?

..Сумею ли я найти то единственное слово, которое сможет унять ее душевную боль, обессиленную поднять на ноги, потерявшую надежду обнадежить, плачущей утереть слезы, работающей облегчить труд; и дать ей понять этим словом, что есть много стран, гораздо более несчастных, но тем не менее живущих более счастливо; и собрать всеедино искорки, которые не могут не тлеть в каждом человеке, раздуть из них огромное пламя, чтобы согреть остывшее сердце моей родины. Сумею ли я? Смогу ли сказать то самое единственное нужное слово так, чтобы услышали меня? И я решил, моя страна примет меня, как родного, ибо я ее плоть и кровь; я пойму каждое ее слово, потому что слово отчизны истинный ее сын слушает не только ухом, но и сердцем, которому понятно даже молчание; я сделаю все, чтобы и она услышала меня, потому что к сыновнему слову родитель не может остаться глух».

---

\* Окончание. Начало см. в №№ 2, 3.

Абсолютно ясная и четкая программа действия. Илья Чавчавадзе знает, что делать, почему и как. И только бы чуть-чуть сомневается в собственных силах. Но и это сомнение развеивается, поскольку есть вера, что родитель всегда услышит сыновнее слово.

Позднее, в 10-х годах двадцатого века почти аналогичный вопрос поднимает Галактион Табидзе:

Куда ведет меня мой путь унылый,  
Где, бесприютный, найду я облегчение?  
Что даст такого мне моя родина,  
Или что даст ей моя лира?

Не знаю... Но в бесцельном скитании  
Я мысль не в силах удержать, набрякшую слезой...  
Тревожно мне... Зову я жизни цель,  
Но мне никто не отвечает...\*

Это стихотворение отмечено чувством безысходности, растерянности.

Два молодых человека, по существу одного и того же возраста, вышедшие на литературную арену в различные эпохи, проявляют совершенно отличное друг от друга отношение к цели жизни. Чем это вызвано? Что тут сыграло решающее значение — характер эпохи или личные качества творца? И то, и другое, надо думать, но, тут важно, что именно играет главную роль. Безусловно, Галактион Табидзе не был таким стойким железной воли человеком, как Илья Чавчавадзе. Он гораздо легче приходил в отчаяние от царящего вокруг зла, нежели Илья, но главное все же заключалось в объективной действительности. Это отчетливо проявилось в последующую эпоху, когда чувство безысходности почти тотально завладело мыслящей Грузией.

Константинэ Саварсамидзе, главный герой «Улыбки Диониса» Константинэ Гамсахурдиа, причитает:

«Я прошел уже полпути моей жизни, но по-прежнему вспоминаю тебя и призываю, мудрый мой воспитатель!

Может быть ты укажешь мне путь, который выведет меня из этого дремучего леса. Ты слышишь меня?

---

\* Здесь и далее переводы стихов подстрочные.

«Дорогу!» — восклицает человек на кривых рубежах веков.

«Дорогу!» — кричат путники, извозчики, ватмань и шоферы.

«Дорогу!» — восклицают писатели, ученые, монахи и наставники. Я всех видел, расспросил, но никто не указал мне пути.

И хотя передо мной открыты все дороги, испробованы все поприща, а оковы так же сладки, как запястье, подаренное возлюбленной, я все же не знаю, куда идти, ибо все пути бесконечны и непроходимы».

В таком же отчаянии и Гиви Шадури, герой одноименного романа Михаила Джавахишвили.

«...Кто знает, что схоронено в этом сердце! Кто знает, кто скажет мне?! Никто, никто. О, если бы моя жизнь пошла по другому пути, или я сам избрал бы иную дорогу...

Эх, к черту все дороги! Зря вы, друзья, скажу я вам, тратите на них свое время и рифмы, мысли и слова, ибо дороги не имеют ни смысла, ни направления, ни начала, ни конца. Впрочем, прошу прощения, я ошибся, опять ошибся... Каждая дорога имеет свой конец. Раньше говорили: все дороги ведут в Рим. Я же скажу вам, что это враки, сплетни! Все дороги и дорожки сходятся у разбитых надежд!».

Персонаж «Похищения луны» Константи́нэ Гамсахурдиа — Тараш Эмхвари также не нашел своей дороги. Как вы помните, он считал, что в то время было два пути — Сталина и Муссолини, т. е. большевизма и фашизма. Но вот Тараш сам признается: «Я до сих пор скитаюсь бесцельно и, как видишь, еще не нашел своего пути... Оба оказались заказанными для меня...»

Уже эти три примера свидетельствуют о том, как остро стояла в грузинской литературе 20—30-х годов проблема человека, сбившегося с пути. Коммунистическая литературная критика объясняла это тем, что победивший пролетариат уничтожил класс собственников и привилегированных лиц, и детям потерпевшей поражение грузинской аристократии ничего другого не оставалось как предаваться отчаянию, нытью и жалобам. Частично так и было. Но это лишь одностороннее объяснение проблемы сбившегося с пути человека. Ни Гиви Шадури, ни Константи́нэ Саварсамидзе, ни Тараш Эмхвари не жалуется на свое бесцельное существование, исходя лишь из классовых соображений. Этот вопрос волнует их скорее с национальной точки зрения. Каждый из них хо-

чет служить родине, народу, но не может и не хочет принять социалистический идеал. А другого идеала не существует. Они помнят 26 мая 1918 года, когда Грузия объявила о своей независимости. Они хотят служить идеалам 26 мая, но их несчастье в том, что они же были свидетелями крушения этих идеалов и торжества 25 февраля 1921 года. Для Гиви Шадури, Константиэ Саварсамидзе и Тараша Эмхвари 25 февраля неприемлемо именно с национальной точки зрения. Независимая Грузия снова пала и снова оказалась под российским ярмом. Не имело значения, что начертано на этом ярме — царизм или социализм. Видеть это, понимать, переживать было, естественно, очень и очень нелегко. Это и породило чувство безысходности и безнадежности. И то, что дело обстояло именно так, подтверждают написанные в 20-е годы философско-критические статьи.

Всех, кто способен был мыслить, мучил один и тот же вопрос — как могло случиться, что независимость Грузии буквально улетучилась в один миг? В 20-е годы на это давался по существу нигилистический ответ.

Николо Мицишвили писал:

«И когда я вновь возвращаюсь мыслью к Грузии, я не вижу ее. Не нахожу, и мной овладевает страх: неужели Грузия всего лишь этнографическое явление, постепенно вырождающееся?»

Пересматриваю нашу историю и не вижу в ней руки Божьей. Наше существование — насмешка Провидения. В нас сидит что-то от льва и блохи, от черта и ангела, от ума и опухоли... есть что-то слепленное, склеенное и разбросанно-раскиданное. Я не нахожу ни хребта грузинской идеи, ни смысла Грузии в прошлом.

Грузия — пассивное явление.

Ее энергия была вызвана иным, вне нее находящимся явлением (энергия червя, которого придавливают ногой).

Она лишена собственной, внутренней активности и, стало быть, творческого гения.

А отсюда лишена оправдания, мирового оправдания, собственной религии, призвания, мысли, содержания.

Поэтому Грузия сухая и порожняя. Отсюда ее бездетность или бесплодие.

Результатом этого, я думаю, является поверхностность сущности грузина, его ума, принесение в жертву грузинского искусства, поэзии.



Мне кажется, это и причина того, что все грузинское кратковременно, что судьба грузинская прерывается и разбивается всегда посреди пути, незаконченная, недожившая.

Николо Мицишвили был неодинок. Так же думали и другие. Приведу еще несколько примеров.

Вот, что писал Серги Данелия:

«Стоило начать историю, как нить ее тотчас прерывалась. Не было преемственности эпох. Наша история состояла из каких-то обрывков, начатых и снова разрушенных зданий. Нет в ней единой широкой направленности. Есть только линия муки, разгрома, хаоса и угнетения. Но тут мы, грузины, не были субъектами истории, мы, вроде атомов, являлись лишь объектами: из кирпичей Грузии строилась чужая история.

Жили рассеянные, разобщенные, не понимая друг друга, как атомы. Каждый был занят собой, не было единой общественной цели. Нации не существовало, ибо род не уступал своих позиций. И сегодня для грузина человек, не принадлежащий к его роду, т. е. к группе связанных с ним близкими родственными узами людей, ничего не значит. Того, кто не является нашим родственником, мы за человека не считаем. Он чужой нам, а любовь к чужому для нас необязательна.

У нас, грузин, есть слово «самшобло», равное по смыслу русскому «родина» и французскому «pays natal», но у нас нет того, что французы называют «patrie», немцы — «Vaterland», русские — «отечество». Слово «мамули»\*, которое пропагандировал Илья Чавчавадзе, близко по смыслу русскому «вотчина», т. е. перешедшей от отца частной (выделено С. Данелия — А. Б.) собственности, личному имуществу. «Мамули» — не отечество, и у грузин не было отечества. Может быть это объясняется тем, что грузины не имели также слово «синдиси»\*\*. «Синдиси» — заимствовано грузинами из греческого. А заимствованной совестью истории не построишь: историческая нация должна иметь собственную совесть, поскольку совесть это тот известковый раствор, без которого не возвести башню истории. Построенная грузинами башня постоянно руши-

<sup>1</sup> Н. Мицишвили, Мысли о Грузии, журн. «Грузинская литература», 1926, № 4—5 (на груз. яз.).

\* Отечество (груз.).

\*\* Совесть (груз.).

лась. Ни кровь, ни слезы людей не смогли защитить ее от разрушения. Впрочем, «Легенда о Сурамской крепости» рассказывает обратное. Но разве насильственно пролитые слезы и кровь могли заменить известковый раствор? Разве мало крови было пролито для возведения грузинских крепостей? Вспомним хотя бы то, что нигде сеньориальный режим не был так жесток, так беспощаден, так безжалостен, как в Грузии. Рабов продавали, как свиней. Оторванные от Родины грузинки увядали от тоски в гаремах мусульман. И все эти грехи думали оправдать во имя крепости Грузии. Но крепость, возведенная лишь на слезах и крови, стоять не будет. Легенда врет, что крепость была построена. Крепость не построили: из Хашури можно было различить лишь развалившиеся стены. Крепость не построили потому, что она возводилась только на крови; был материал, были кирпичи, но не было соединяющего этот материал раствора; не было единого духа. Каждый строил «для себя». Грузинская крепость, как и Вавилонская башня, рушилась все по той же причине, и народ зря терпел муки»<sup>1</sup>.

К процитированному добавим строки Константина Капанели:

«Ценность художественного произведения определяется влиянием, которое оно оказывает на окружение, общество, человечество: чем больше сфера влияния, тем большими эстетическими достоинствами отличается художественное произведение, если отношения между идеологией и состоянием общества нормальные, если индустриальная эволюция на определенной земле систематически (выделено автором — А. Б.) влечет за собой централизацию культуры.

В противном случае идеология и ее наиболее прекрасная форма — художественная литература — принимает характер этнографии, как, например, в Грузии: многие прекрасные образцы грузинской литературы имеют чисто этнографический характер только потому, что централизация грузинской культуры после средних веков была или очень слабой, или ее вообще не было. Результатом этого явилось то, что грузинского национального темперамента, грузинского национального типа не существует (выделено мной — А. Б.); не существует и полной классовой

---

<sup>1</sup> С. Данелия, Важа Пшавела и грузинский народ, 1927 (на груз. яз.).

разновидности, и в этом вся наша национальная трагедия: имей Грузия сильные господствующие классы как в средние, так и в новые века, историческая эволюция грузинского народа была бы иной, и грузинская литература со своими типами не была бы ограничена этнографическими рамками; экономически и культурно сильный класс психологически объединил бы провинции Грузии; уподобил бы друг другу по темпераменту, эмоциям, чувствам, действиям грузинские племена, и распыленные по перифериям богатые свойства грузинского духа исторически сформировал бы в национальные типы и образы»<sup>1</sup>.

Прекратим цитирование. Правда, материалов, подтверждающих нигилистическое отношение к национальной энергии, прямо скажем, предостаточно, но я думаю, довольно и этого, чтобы показать, как глубоко и прочно вошло отчаяние в кровь и плоть нашего общества.

Смотреть на этот факт сквозь пальцы нельзя. Не следует думать, что этот нигилизм — порождение вражды или ненависти к грузинскому народу. Мы совершили бы роковую ошибку, допустив такое. Напротив, отчаяние и нигилизм, владевшие умами, — результат большой, самсотверженной и бескорыстной любви и боли за грузинский народ. Не вынеся исторической несправедливости, они утратили веру и надежду. Это была неслыханная трагедия, и мыслящая Грузия оплакивала себя. Прав был Николо Мицишвили, когда говорил: «Я не знаю, кто любит Грузию больше, чем мы». Это отчаяние, этот нигилизм породила та любовь, что заставила Илью Чавчавадзе написать «Счастливый народ», а Акакия Церетели прсизнести: «Ты достойна плевка, Грузия!». Мы не должны попадаться на удочку коммунистической пропаганды, которая в 40-е годы объявила Серги Данелия, Константино Капанели и других «безнравственными и бесчестными учеными»<sup>2</sup>. Ругань, которую обрушила на них пресса, была не ответом на заданный ими вопрос, а попыткой замазать глаза пропагандистской стряпней несведущему в делах читателю.

Вместе с тем следует сказать, что отчаяние как общественное настроение, возникшее в 20-х годах XX века, было прямым продолжением того отчаяния, что рождалось в первой половине XIX столетия.

---

<sup>1</sup> К. Капанели, Грузинский дух в эстетических образах, 1926 (на груз. яз.).

<sup>2</sup> Газ. «Комунисти», 1949 г., 11 мая.

Утеря Грузией свободы в 1801—1810 годах, факт обмана Россией грузинского народа потрясли, ошеломили мыслящую его часть. Бесспорным свидетельством этого является двойственное отношение к установившемуся господству России в Грузии Александра Чавчавадзе, Григола Орбелиани, Николоза Бараташвили.

Если «открылся путь, и родилась у иверийцев надежда, что отныне придет к ним просвещение», как писал Александр Чавчавадзе, то почему же признается он: «Я плачу о том, обреченный, что вдруг не доживу я, если время, милое сердцу, вновь вернется!»

Ал. Чавчавадзе мечтал о «милом сердцу времени» не ради личного блага. Он имел все, кроме национальной свободы. Его взгляд был устремлен в будущее Грузии. Но его точил сомнение, не было твердой уверенности, что Грузия может обрести свободу. Эта двойственность принуждала его метаться между двумя крайностями: то он вдохновлялся ложной идеей — «родилась у иверийцев надежда», то мечтал о «милом сердцу времени».

Если Григол Орбелиани искренне верил, что Николай I действительно явил Грузии «дни Тamar, дни величия», почему он оплакивал прошлое своей родины, почему восклицал в раскаянии: «Или то, что сказал я, почему сказал, или то, что хотел, почему не смог вымолвить?»

Что же он хотел сказать и не смог? Что за «мысль, близкую сердцу» хотел поверить читателю? Естественно, все ту же мысль о национальной свободе, но не смог преодолеть сомнения и отчаяние.

Н. Бараташвили еще в поэме «Судьба Грузии» выступил явным противником решения Ираклия II; в стихотворении же «У могилы царя Ираклия» как будто оправдывает покорение Россией Грузии. Если строки: «Вот исполнилась ныне государева твоя мысль, и мы, сыны твои, пожинаем плоды ее сладкие» — не горькая ирония, то тогда это вопль отчаяния или роковое заблуждение.

То же произошло с нами в 20-е годы. В феврале 1921 года Россия снова завладела Грузией. Русские коммунисты обманули грузин так же, как ранее русское самодержавие. Правительство Советской России в мае 1920 года, подписав соответствующий акт, признало независимость Грузии и отказалось от претензий к нашей стране. Но это не помешало Ленину через несколько месяцев напасть на Грузию и вновь установить в ней русский диктат.

С национальной точки зрения политическая ситуация была той же. И результат получился тот же. Разница заключалась лишь в том, что в 1801—1810 годах царизм не напичкал специальной группы грузинских интеллигентов с тем, чтобы она проповедовала национальный нигилизм и отравляла веру грузинского народа в собственное будущее. Советская же Россия организовала в 20-е годы рабское воинство в лице пролетарских писателей, поставив перед ним задачу окончательного убиения в грузинском народе национального чувства. К счастью, эта затея успеха не имела.

Вторая половина XIX века ответила национальным оптимизмом на национальный скептицизм первой половины.

Илья Чавчавадзе призывал свое поколение:

Перестанем горевать о прошедших временах...  
Мы должны ныне следовать иной звезде,  
Мы должны дать жизнь нашему будущему,  
Мы должны дать будущее народу...

Но как, каким образом? Илья Чавчавадзе сформулировал это так: путем классовой гармонии (т. е. национальной целостности), освобождения труда к национальной свободе.

«Когда этой росы станет много, река разольется и пригонит плот, который восстановит разрушенный мост между нами, соединит оба берега. Это слезное знание или познанная слеза о прошлом, впереди — свет, а свет... — начало зари...» («Отарова вдова»).

«Освобождение труда — бремя сильного этого века» («Видение»).

Поколение «испивших воды Терека» во главе с Ильей Чавчавадзе трудилось во имя осуществления этой программы. Претворение ее в жизнь грозило гибелью русской колониальной системы. И Россия поняла это. «Испившим воды Терека» надо было объявить войну. Перенести внимание грузинского народа с национальной проблемы на другой, не менее важный вопрос. Таким вопросом представлялась проблема освобождения труда. Играть этой проблемой было выгодно, поскольку она составляла часть программы «испивших воды Терека». Одурачить отсталый люд ничего не стоило. Поэтому принципу «испивших воды Терека» был противопоставлен новый: путем классовой борьбы к освобождению труда. Национальный элемент был исключен; утверждалось, что освобождение труда автоматически повлечет за собой и национальное осво-

бождение. Уверуй грузинский народ в этот принцип, и Грузия стала бы рабыней России. Предположения врага оправдались. Грузины самоотверженно бросились в пучину великой борьбы в великой надежде, что за победой пролетариата последует национальное освобождение.

Враг развязал себе руки и получил арену действия.

В 1907 году социал-демократическая рабочая партия России убила не только Илью Чавчавадзе, но и идею национальной свободы Грузии. В тот день в Цицамури полувековая борьба «испивших воды Терека» закончилась поражением.

Заглохшее было отчаяние разгорелось с новой силой в сердце мыслящей Грузии. Колокола надежды зазвонили лишь 26 мая 1918 года, но, как мы знаем, звон этот быстро отзвенел.

Вековой вопрос вновь потребовал нового ответа. Но в 20-е годы XX столетия найти этот ответ было гораздо сложнее, нежели в первой половине XIX. Прошедшие годы многое прояснили.

Когда мы оглянулись назад, то увидели, что грузинская феодальная аристократия, потерпев поражение на исторической арене, прекратила свое существование. На протяжении веков вела она грузинский народ кровавым путем борьбы, но так и не вывела к победе. Та самая аристократия, которая построила Грузию Давида и Тамар, одряхлев от старости, оставила грузинскому народу позорное завещание:

Пришло время, Соломон,  
увидеть Грузии мир,  
только под защитой России  
сможет она отомстить Персии.

Это был жалкий конец славно прожитой жизни.

А грузинская буржуазия ко второй половине XIX века еще не обладала силой, способной повести за собой народ. Она не подходила для этой роли ввиду своей беспомощности и неразвитости. Лидеры грузинского пролетарского движения существовать без няньки не смогли. Это объяснялось слабосилием грузинского рабочего класса. Он не мог вести классовую борьбу самостоятельно, будучи тем не менее очарован ею; поэтому грузинские марксисты смотрели в рот русским марксистам и уписывали за обе щеки то, чем пичкала их нянька. Этим и объясняется, что грузинские социал-демократы избрали тот

же путь в национальном вопросе, каким шли последние грузинского феодализма.

Так нация осталась без предводителя.

Оказавшись в подобной ситуации, каждый мыслящий грузин задавал себе вопрос — кто же он есть на самом деле? Что такое Грузия? Неужели у нее действительно нет достаточной национальной энергии, чтобы существовать самостоятельно? Неужели она достойна лишь рабской участи? Те, кому не хватило воли, махнули рукой и смирились с рабством, покорились судьбе, объяснив все слабостью национальной энергии. Другие начали поиски национальной энергии в недрах народа. Эту картину отразил Михаил Джавахишвили в своем романе «Арсен из Марабды».

Закончилась спортивная борьба на площади. Народ расходился по домам. Бараташвилевские крестьяне собрались под своим знаменем и ждут приказа господина. Сабаратиано было «мецинаве садрошо»\* Восточной Грузии, а Заал Бараташвили — нынешним его владельцем. Гвтисавар, отец Арсена, как старый знаменосец, спустил знамя и смотрит на господ. Русский майор Орлов, увидев эту картину, поразился — что происходит? Ему объяснили. Майор велел немедленно доставить ему знамя, одновременно тронув коня в сторону Гвтисавара и потянувшись к знамени. Отец Арсена схватил лошадь майора за узду и повернулся к господам — что делать?

«Мозолистая рука знаменосца и тронутые сединой усы едва трепетали. Лицо у Григола Орбелиани стало шафранового цвета. Давид Бараташвили опустил голову, маршал Александрэ стоял, застыв на месте. Княгини затаили дыхание, а казначей знамени Заал лишился дара речи».

Князя не знают, что им делать — и Орлова боятся, и поступиться знаменем стыдятся. Тогда Арсен подлетел к отцу, взял у него знамя и прохрипел своим низким голосом так, чтобы слышали и русский, и грузины: пусть придет и забрет. Орлов налился злобой, без слов повернул коня и поджавши хвост покинул площадь.

Потом Арсен вообще отнял знамя у Заала Бараташвили и сделал его стягом своего отряда.

По мысли Мих. Джавахишвили, народ сам должен строить свою национальную судьбу, но была ли у него такая возможность при Советской власти? Нет, уже не было. Роль вер-

---

\* Военно-территориальная единица в древней Грузии.

шителя народной судьбы присвоила себе компартия. На на-  
сущный для грузин вопрос компартия Грузии ответила то, что  
ей подсказала русская компартия — навеки с Россией. Ни сего  
ответа она и не могла дать, ибо КП Грузии всегда опиралась  
и продолжает опираться на русский штык. Правда, штык не  
самая удобная вещь для опоры, но лучше опереться на него,  
чем потерять свое кресло. Когда в 1924 году грузинский на-  
род попытался сам распорядиться своей судьбой, компартия с  
помощью русской армии потопила в крови его восстание. Это  
было грозным предупреждением грузинскому народу: будете  
рыпаться, и вас уничтожат всех до единого.

Так было утверждено предписание — навеки с Россией!

Так были отвергнуты все другие варианты, все другие  
решения проблемы.

Так были заткнуты рты.

Так было запрещено думать о национальном вопросе, об-  
суждать его.

Так, не спрашивая грузин, «решили» их судьбу.

Так вопрос, на протяжении веков мучивший грузин, ос-  
тался без ответа.

Потому грузинская литература молчит сегодня о нацио-  
нальной энергии. Но мысль остановить невозможно. Мысль за-  
претить нельзя. Тихо, про себя, все ищут ответа, не решаясь,  
впрочем, произнести свои мысли вслух. Но давно уже настало  
время во весь голос спросить — что ждет гру-  
зинский народ? Останется он племенем, этнографическим ма-  
териалом, из которого любой поработитель сможет вылепить  
то, что ему угодно, или, с его точки зрения, целесообразно,  
либо же станет нацией, полноправным, свободным, независи-  
мым членом общечеловеческой семьи со своей национальной и  
интернациональной миссией?

Для этого грузинскому народу надо совершить переоцен-  
ку ценностей и на многое посмотреть иными глазами. Сде-  
лать это необходимо, ибо после того, как в 1801-10 годах Рос-  
сия завладела Грузией, судьба грузинского народа, хотел он  
того или нет, определялась положением русского народа. Мы  
уже не могли по собственному усмотрению распоряжаться сво-  
ей судьбой. Михаил Джавахишвили очень точно охарактери-  
зовал это положение устами Александрэ Орбелиани в «Арсене  
из Марабды»: «Русский скачет за Европой на коне, а нас та-  
щит за собой на веревке и говорит, чтоб мы не отставали. Ок-  
ровавленные, мы бежим за его конем и думаем, что он делает  
нам добро».



Пока грузины не освободятся от иллюзии насчет «принносящей добро России», Грузии спасения не будет.

Проследите за историей России, каждое великое и доброе начинание кончалось здесь поражением.

Потерпела поражение идея европеизации Петра. Борьба во имя ее продолжалась два века, но по существу ничего не вышло. В тот день, когда Сталин провозгласил тост за русский народ и в СССР началась тотальная проповедь приоритета России, окончательно была похоронена мечта Петра о европейском облике России. Победу одержало самое уродливое проявление славизма — русизм.

Почему это произошло? Потому что ни Петр, ни Екатерина II, ни другие даже не пытались в процессе европеизации России изменить дух русского быта — деспотию. Они внедряли европеизацию путем деспотизма, не понимая что последнее начисто исключается европеизмом. (Разумеется, речь идет о сущности его, а не об отдельных кратких во времени проявлениях деспотизма в Европе). Несоответствие цели и способа ее осуществления привело к поражению идеи Петра.

К европеизации России призывал и Ленин:

«Да, учись у немца! История идет зигзагами и круговыми путями. Вышло так, что именно немец воплощает теперь, наряду с зверским империализмом, начало дисциплины, организации, стройного сотрудничества на основе новейшей машинной индустрии, строжайшего учета и контроля.

А это как раз то, чего нам недостает. Это как раз то, чему нам надо научиться. Это как раз то, чего не хватает нашей великой революции, чтобы от победоносного начала придти, через ряд тяжелых испытаний, к победному концу. Это как раз то, что требуется Российской Советской Социалистической Республике, чтобы перестать быть убогой и бесильной, чтобы бесповоротно стать могучей и обильной»\*.

Эти строки — прямое продолжение созданного в русской литературе образа работающего и делового немца, который противопоставлялся ленивому бездельнику, пьянице-русскому. Ленин мечтает о личности, которую в прошлом веке Николай Михайловский охарактеризовал как «онемеченный русский». Но и ленинский призыв не имел успеха. Победа России во второй мировой войне раз и навсегда похоронила идею «онемечивания» (или европеизации), русскостью стали гордиться

\* В. И. Ленин. Соч., изд. IV, 1955, т. 27, стр. 137.

ся, русизм — объявлен мечтой человечества. Советская пропаганда начала тотальную проповедь русизма.

Почему это произошло? Потому что и Ленин решил воплотить в жизнь немецкую «дисциплину, организацию, прочное сотрудничество, жесточайший учет и контроль» путем деспотизма. Он не понял, что то, чего он требовал, являлось свойством народного духа (в данном случае немецкого). Кнутом и палкой это внедрить нельзя. «Немецкий дух» — результат свободы нации. Несоответствие цели и способа ее осуществления разбило и эту мечту. Благодаря ленинской деспотии Россия не смогла приобрести необходимое для того, чтобы из бедной и немощной превратиться в мощную и богатую.

Поражением закончилась и почти полуторавековое русское освободительное движение — от Радищева до Февральской революции 1917 года. Октябрьский переворот уничтожил все идеалы свободы и сменил царскую деспотию на деспотию коммунистическую. Причем последняя оказалась гораздо более жестокой, нежели первая. В подтверждение этому, если вы помните, я приводил несколько примеров, которые показали, что в сравнении с коммунистической деспотией, царизм был детской игрой.

Оставим каторгу, просто сравним положение «свободного» гражданина при царизме и коммунизме и убедимся, насколько более бесправен, угнетен, поработен советский человек. Царизм не запрещал мыслить. Коммунисты же запретили. Во время царизма творили такие деятели, как Чаадаев, Белинский, Герцен, Чернышевский, Михайловский, Лавров, Плеханов и, наконец, Ленин. А что дал социализм? Полное молчание. Нигде ни мысли. А если кто и отважится на это, кончат дни на каторге или навечно отбывает в эмиграцию. Впрочем, об эмиграции можно только мечтать, она достается только «избранным».

Подобной катастрофы не знало освободительное движение ни одного народа.

Нидерландская буржуазная революция заложила основы свободной и демократической Голландии, английская буржуазная революция — британского демократизма и свободы, французская буржуазная революция — демократической и свободной Франции... Единственная страна, где в результате буржуазной революции (февраль 1917-го) родилась новая разновидность деспотии (октябрь 1917-го), — это Россия.

Почему это случилось? Это предопределено характером.

природой русского народа. Во имя свободы в России может произойти бунт, революция, может измениться вся социально-политическая система, но итог этих изменений будет один — деспотия.

Заметьте: после гегемонии нацизма родилось одно из самых демократических государств мира — Федеративная Республика Германии; после разгула фашизма появилась свободная Италия, после диктатуры Франко — новая Испания, живущая по принципам свободы и демократии (даже коммунистка Долорес Ибаррури возвратилась на родину), после свержения Салазара Португалия празднует свободу. Единственная страна, где ничего не изменилось, — Россия, хотя после Сталина минуло двадцать девять лет. И беспомощный либерализм, поднявший было голову с его смертью, оказался явной ложью. В сегодняшней России вновь господствует сталинизм. Иначе и невозможно. Сталинизм — не что иное, как ленинизм, воплощенный в жизнь. Единственная форма социализма в России — ленинский террор. Как только его не станет, социализм рухнет. Видно, это хорошо усвоили Сталин и его преемники — торжество деспотии длится.

Официальная пропаганда похваляется, что Россия первой воплотила в жизнь реальный социализм. Но если спросить, что принес России социализм, то в ответ получим — ничего, кроме военной мощи. А уж этой мощи России всегда хватало. Если ранее ее называли жандармом Европы, то теперь ее можно назвать мировым жандармом. Вот и все. Во всех других отношениях ни одного шага вперед.

Поражение русского освободительного движения похорило надежду Грузии. Свою свободу грузины связывали с освобождением России. В основе надежды грузинских царей, сторонников соединения с Россией, лежала наивная вера в то, что единоверная Россия не станет притеснять Грузию. Надежды грузинских коммунистов, преданных русскому социализму, также питала наивная вера в то, что социалистическая Россия освободит социалистическую Грузию. Мы горько ошиблись. Царская Россия поработила Грузию, арестовала грузинскую царскую династию и выслала ее в Россию. Грузинское царство было упразднено, а Грузия поделена на две губернии — Тбилисскую и Кутаисскую. Грузинскую церковь уничтожили, грузинское богослужение запретили, перешли на русский язык. Изгнали грузинский и из учебных заведений. Но эта горькая действительность не отрезвила грузинских мар-

ксистов. Уповая на Ленина, они уготовили Грузии ярмо коммунистической деспотии взамен ярма царской деспотии.

Это было невиданное поражение грузинского мышления.

Грузин всегда вводил в заблуждение факт существования русской свободной мысли. Они не видели характерной для России странной закономерности: свободная мысль и деспотия существовали там по отдельности, причем свободная мысль никак не влияла на деспотию, а деспотия при желании в любой момент могла расправиться с ней.

Так было всегда, то же наблюдаем мы и сегодня; проповедника свободной мысли в России ждет либо каторга, либо изгнание.

Андрей Курбский был вынужден бежать в Польшу, откуда он слал свои письма, обличающие кровавые дела Ивана Грозного.

Герцен нашел приют в Европе и там пригвождал к позорному столбу Николая I.

В эмиграции укрывались от царских жандармов члены «Народной воли» и русские марксисты.

И сегодня живут в эмиграции или сидят в лагерях те, кто хочет возродить свободную мысль в СССР.

«Колокол» Герцена печатался в Европе. Только так можно было сказать правду о царской России.

Сегодня в Европе печатается свободный русский журнал «Континент». И сегодня только таким образом можно сказать правду о социалистической России.

К чести русских диссидентов надо сказать, что никто в мире с такой силой и глубиной не обличал коммунистическую деспотию, как они. Но каков результат?

Обличительная сила в России всегда была велика, а шанс добиться свободы ничтожно малым.

Злым роком преследует Россию страшный парадокс: всю свою силу она употребляет не на воплощение в жизнь идеи свободы, а на ее удушение, как собственной, так и чужой. Подобное положение породило два радикально различных сознания. Одно из них — плод свободной европейской культуры, другое — результат деспотичной русской культуры.

Герой Джеймса Джойса Дедал («Портрет художника в юности») написал на учебнике по географии свой адрес:

Стивен Дедал

Начальный класс

Клингоус-Вудский колледж

Селинз  
Графство Килдер  
Ирландия  
Европа  
Мир  
Универсум.



Здесь на редкость четко представлено единство человека, общества, человечества, универсума. Его разделение или расчленение по какому-либо принципу невозможно. Сама попытка сделать это — преступление как против личности, так и против человечества. Для Стивена Дедала все свободны — личность, народ, человечество. Они едины и целостны, согласно идее полного и всеобщего равновесия. Каждый человек — часть этого свободного и стабильного мира.

Это — сознание, рожденное на почве европейской культуры.

В отличие от него русская культура породила зараженного сервиллизмом человека. Узбекский поэт Хамид Алимджанов выразил это рабское сознание следующим образом:

Россия, Россия!  
Твой сын, а не гость я,  
Ты — родная земля моя,  
отчий мой кров,  
Я — твой сын,  
плоть от плоти твоей,  
кость от кости —  
И пролить свою кровь за тебя я готов!

Как видим, русская культура сформировала не свободного человека, а зараженного великорусским шовинизмом раба, отвергнувшего не только себя, но и свой народ. Осознав этот ужас, два выдающихся деятеля сегодняшней России — Александр Солженицын и Андрей Амальрик — сказали: стыдно быть русским<sup>1</sup>. Трудно представить себе более глубокую боль. Ведь формирование такого рабского сознания равносильно потере разума! Может быть, потому так актуально звучат пушкинские строки:

---

<sup>1</sup> А. Амальрик, Записки диссидента, 1982, с. 86; А. Солженицын, Архипелаг ГУЛаг.

Дай Бог, чтоб милостию неба,  
Рассудок на Руси воскрес.



Это было поражением не только русской культуры. Поражение потерпела и грузинская мечта. Грузинские деятели оправдывали захват Россией Грузии тем, что наша страна таким образом выйдет из азиатского тупика. Будто бы она станет на путь европейского мышления и развития. Но, как вы видите, они жестоко ошиблись. Отказ от европеизма в России и возрождение русизма бросили Грузию из азиатского тупика в болото славизма. Европа осталась недостижимой мечтой.

Константинэ Гамсахурдиа в свое время разоблачил беспомощность и несостоятельность тех, кто надеялся на Россию, но его никто не слышал.

«Дмитрий Килиани думал, что русский царь хороший, русский царь любит Грузию, уважает исторические гарантии ее дворянства. Только русские министры не годятся.

Ноэ Жордания и Арчил Джорджадзе одно время были убеждены: и русский царь плох, и русские министры, и русская жандармерия. Все они враждебно относятся к нам. А вот русская демократия хороша.

Сегодня некоторые думают: кто-кто, а уж русские актеры и русские писатели — это представители культуры. Мы любим их.

Мы же думаем по-другому: каждый хорош на своем месте, в свое время, в своей стране. У нас своя цель, своя литература, своя культурная политика, и мы ценим всех постольку, поскольку они считаются с нами и полезны нам»<sup>1</sup>.

Если грузинский народ не будет свободен, не пойдет своим путем, он никогда не станет полноправным самобытным членом человеческого общества, универсума. Как наш народ, так и наша литература навсегда останутся тенью других. А тень, все это хорошо знают, пропадает без труда.

Но это — одна сторона вопроса. Есть и другая: что необходимо для того, чтобы русский характер освободился от деспотизма, а грузинский — от сознания приживалы? Чтобы он почувствовал себя свободным и не искал бы покровителя?

На мой взгляд, на этот вопрос есть только один ответ — необходима революция духа.

Социальная революция ничего не меняет ни с нравствен-

---

<sup>1</sup> К. Гамсахурдиа. Наша культурполитика, газ. «Ломиси», 1922, (на груз. яз.).

ной, ни с материальной точки зрения. Единственное, к чему приводит социальная революция — это смена одного господина другим. Ни Кромвель, ни Робеспьер, ни Ленин не принесли народу блага. Они лишили привилегий одну господствующую кучку и передали их другой. А новый господин зачастую оказывается более жестоким, чем прежний.

С материальной точки зрения облегчение человеку приносит научно-техническая революция. Она создает множество средств для облегчения тяжелого труда человека и увеличения его богатств. Ни одна социальная революция не дала бы человечеству электричества. Впрочем, чтобы ввести в заблуждение дураков, электролампочку называли «лампочкой Ильича» и, представьте себе, нередко достигали цели. Один народный артист Грузинской ССР доказывал мне, что электролампочку изобрел Ленин и поэтому ее называли «лампочкой Ильича». Вот вам результат, который дает пропаганда и обучение в советской школе. Но человечество, к счастью, состоит не только из дураков, и каждый здравомыслящий человек понимает, что технический и научный прогресс никак не связан с социальной революцией. Напротив, социальная революция зачастую выступает против научно-технического прогресса, всячески препятствует ему, а иногда и душит. Достаточно вспомнить, как яростно боролись в СССР с кибернетикой, генетикой и т. д. Но научно-техническая революция тем не менее одержала победу, и даже коммунисты были вынуждены признать это.

Социальная революция не приносит и духовной свободы. Если мы сравним капитализм и социализм сегодня, то увидим:

1. Капитализм не боится идеологической борьбы. В капиталистических странах существуют компартии и издается коммунистическая литература (Маркс, Энгельс, Ленин, Троцкий, Сталин, Мао Дзе-дун, Брежнев и другие). В социалистическом мире не допускаются другие партии и не издаются книги инакомыслящих. Более того, не издаются даже сочинения коммунистов (например, Сталина, Троцкого, Мао Дзе-дуна и др.).

2. Капитализм не боится ни забастовок протеста, ни митингов, ни демонстраций. Социализм, напротив, трясется от страха перед подобными явлениями и душит их в зародыше.

2. Если из недр капитализма вышли другие учения (и марксизм, и ленинизм — его порождение), то социализм в

этом отношении совершенно бесплоден. В лоне социализма до сих пор не зародилось ни одно учение.

4. Свобода духа необходима и для экономического прогресса. Если экономически капитализм шагнул далеко вперед, магазины и рынки там ломаются от товаров, социализм плетется где-то в хвосте, вконец обнищавший и разорившийся. Это признал и 26-й съезд КПСС, выработавший т. н. «продовольственную программу». Каждый советский гражданин знает, что ничего из этого не вышло, что «продовольственная программа» была очередным пропагандистским трюком.

Отношение советских людей к «продовольственной программе» выразилось в следующем анекдоте:

«— Что такое ящерица?

— Это крокодил после осуществления продовольственной программы КПСС».

Социальная революция не улучшает общество и в нравственном отношении. Нигде, ни в одной стране воровство, разбазаривание государственного имущества, махинации, взяточничество, вымогательство не приняли такого тотального характера, как в СССР.

Одним словом, для обновления, для возрождения необходима революция духа.

Если революции духа не будет, основное свойство российской жизни — деспотизм — останется неизменным, и тогда грузинский народ не справится с тем своим пороком, о котором сказал Илья Чавчавадзе в «Счастливом народе». Но если, в свою очередь, мы не избавимся от перечисленных в «Счастливом народе» отрицательных черт, свободы нам не видать.

Что такое революция духа, нам ясно показали японцы и евреи.

Японцы не совершали ни социальной революции, ни политического переворота. Они проиграли войну и испытали на себе самое ужасное оружие нашего века — атомную бомбу. Несмотря на это, Япония поднялась и превратилась в одну из супердержав мира. Все японское стало эталоном и образцом. США, западноевропейские страны, СССР — все с почтением взирают на Японию — так огромна ее материальная и духовная сила. А достигли всего этого японцы тем, что совершили революцию духа и научно-техническую революцию. С одной стороны, преодолели азиатскую замкнутость, ограниченность, леность, с другой, освоили все достижения современной науки и техники. Это стало основой их национального возрождения.



Евреи же доказали человечеству, что дух народа негибает, если он знает во имя чего живет. После двухтысячелетнего рассеяния по всему миру, мук, унижений, скитаний они создали национальное государство, возродили забытый язык и добились больших экономических и культурных побед.

Это также было плодом революции духа, которую совершил Теодор Герцль.

Для революции духа необходимы совместные усилия литературы и народа. Литература неприкрытой правдой, выявлением зол и достоинств общественной жизни, четко поставленной целью должна закалять душу народа. Народ же — выступать в роли беспристрастного судьи деяний любого деятеля, а не льстиво и лицемерно воскуривать фимиам каждому шуту и лодырю. Пусть никто не говорит, что народ порой ошибается и не отличает правого от неправого. Народ никогда не обманывается. Но, к сожалению, он предпочитает иногда притвориться одураченным. Народ должен отказаться от этой ложной дипломатии, тогда он всегда будет знать — что и как делать.

Грузинский народ стоит перед неизбежностью коренного перелома своей жизни и истории. Естественно возникает вопрос — кто будет тот грузин, который с полным правом сможет повторить слова Теодора Герцля: «Может быть объективный историк сможет более точно сказать, что стоило еврейскому журналисту, лишенному всяческих средств, в эпоху самой страшной травли превратить тряпку в знамя, а ненавистную толпу — в народ»?<sup>1</sup>

1983 г.

P. S.

Известно, что у медали две стороны. Описанное в этой книге — одна сторона медали: каково было положение грузинской литературы. Но читатель должен знать и другую сторону — как служила грузинская литература XX века национальным и общечеловеческим идеалам. Об этом — в следующей книге «Спасение».

Перевод Лианы ТАТИШВИЛИ

---

<sup>1</sup> «Дроша» («Знамя») — журнал, издающийся в Израиле на груз. яз., 1982, № 7.



## Связующая нить стиха

Сборник стихов Глана Онаняна «Ваш друг и брат» вышел в московском издательстве «Советский писатель». Возвращаясь к своим размышлениям над сборником поэта «Истоки сияния» (1987 год), невольно задаю себе вопрос: актуальна ли новая книга? Столько событий обрушилось на нас за прошедшие три года, что не понять — мир перевернулся или наши представления о нем и о себе?

Ответ мне кажется однозначным: книга актуальна, потому что обращена к нетленным ценностям.

Казалось бы, поэзия Г. Онаняна не погружена в дела сегодняшнего дня, которых не охватить, не пронизана нынешними ритмами, за которыми не поспеть, но она отнюдь не отгорожена от наших тревог и забот. Напротив, в новом сборнике много диалогов с собой и со временем. И даже воспоминания, мечты, видения или сны в основе своей отражают реальную систему человеческих отношений, являются отзвуком конкретных событий:

Вчера мне сон привиделся зловещий —  
О, лишь бы вещим этот сон не стал! —  
На всей Земле словами стали вещи  
И Слово возвели на пьедестал.  
...И суесловье Божий облик стерло,  
Изгнало из сказаний и былии,  
И над Землей дрожащий луч простерла  
Звезда Полынь...

Г. Онаняна отличает открытый, чистый взгляд на мир, но если говорить о чувствах, питающих его стихи о сегодняшнем и будущем, это более всего тревога и опасение.

Казалось бы, в поэзии опасение не может превалять над иными чувствами, особенно в отношении будущего: этого у нас достаточно и в жизненной прозе. Но у Г. Онаняна опасение иного рода. Вспомним, Л. Н. Толстой писал о том, что любовью рождается страх за любимое существо, и этот страх

не оставляет человека. Он несет в себе свойства животворной силы, сопутствующей любви. А любовь, порой как бы умо-зрительная, любовь к людям, ко всему живому, к окружающим предметам — основа поэзии Г. Онаняна.

И противостоянием опасению становятся поиски опоры. Опора душевного и поэтического мира Г. Онаняна — в близких, в ушедших родителях, в предках, в родной среде. «Родные» — «кров» — «дом» — «город» — «мир» — такова иерархия нетленных ценностей поэта.

С разрушением отчего дома гибнет частица души, уже невозстановимая и невозполнимая. Старый дом, пускаемый на слом, несет и содержит в себе не только неповторимый интерьер, но быт, события, жизнь населявших его семей, а через них — жизнь вообще... И прощание со старым домом перерастает у поэта в просьбу о прощении, обращенной к дому, а отсюда ко всем его обитателям, да и к себе, к своему несбывшемуся:

**Отчий дом, ты еще не убитый,  
Ты пока что лозою увит,  
Ты простишь мне былые обиды  
И тоску не поставишь на вид.**

(«Сносят дом»).

Отчий, отцовский дом поэта органично входит в его большой родной дом — Тбилиси. У поэта обострено чувство смены настроения, переливов состояния и преходящности. Родной город видится в постоянном преобразовании, и это преобразование с каждым днем уносит то, что составляло дух и плоть Тбилиси. Новый город остается сокровенным, но из него уходят коренные приметы, и их никогда не оживить. Читая стихи Глана Онаняна, думаешь: как было бы хорошо сохранить хоть один тбилисский дом, предназначенный к сносу, с его ореховой мебелью, скрипучими лестницами, досками для стирки, жестковатыми диванами, палками для шерсти, вязью галерей. Ведь уже следующее поколение тбилисцев может знать о своем городе не больше, чем гости, которым показывают восстановленные дома с балконами на набережной или на улице Бараташвили. Но мимо них уже не пройдут ни керосинщик, ни мацонщик, ни лудильщик, ни старьевщик...

И тот Тбилиси со своими звуками и запахами, как ни горько, будет жить лишь в художественном воплощении: в картинах старых мастеров, песнях и стихах грузинских поэ-

тов, да еще в произведениях мастеров стиха, тбилисских по своему мироощущению: А. Цыбулевского и Г. Онаняна:

თბილისის  
სიბრძნის

**Тифлисский дворик с краном и тутой  
Как чудо в камне высечен когда-то,  
И каждый штрих святой работы той —  
Любви увековеченная дата:  
О сколько здесь шумело свадеб, ссор  
В блаженстве вечеров прозрачно-алых,  
Когда тонул в закатном небе взор  
И дух святой — был винный дух в подвалах...**

(«Тифлисский дворик с краном и тутой»).

В поэзии Г. Онаняна очень глубока струя воспоминаний. Он перебирает в памяти дорогое ушедшее, и чаще всего оно материализовано в быте давнего Тбилиси, окрашено светом и вкусом детской радости:

**А как мы в детстве бегали  
По спускам и подъемам,  
Какие чудо-пекари  
Работали под домом,  
Какие тени шаркали  
И пели в том подвале,  
Какие шоти жаркие  
Нам в щелку подавали!**

(«Грузинский хлеб»).

Казалось бы: ретроспекция не может быть плодотворной сама по себе. Да, многих реалий родного города не вернуть, и одна память о них не может ни напоить полнокровной поэзии, ни помочь жить дальше. Но родной город в стихах Г. Онаняна имеет одну исконную черту: он учит братству, истинно тбилисскому братству. Если уйдет оно, это будет страшнее гибели старых улиц и домов, явлений, ранящих душу. Разноголосые, многоязыкие традиции отношений между тбилисцами могут и должны быть нам примером и в будущем мире наперекор силам, озлобляющим, разъединяющим, обедняющим людей.

Сама фигура Глана Онаняна — армянина, родившегося на грузинской земле, ощущающего Тбилиси своей родиной и пишущего на русском — знаменательна сама по себе. Она свидетельствует о неразрывности связей, настолько прочных и кровных, что они воплотились в одном лице. Никаким идео-

логическим и теоретическим спорам о международных отношениях не подменить этой реальной данности. Людям с таким органическим составом жить в наши дни сложно, как, впрочем, и всегда.

Поэту, возможно, сложнее вдвойне. Но в то же время ему дано немало — объединять людей и культуры, выполнять некую гуманистическую функцию соединения разрывающихся связей.

У каждого поэта есть свой верховный Поэт. Неудивительно, что Глан Онанян обращается к Саят-Нова, великому ашугу трех народов, принадлежащему человечеству:

Неистово, самозабвенно,  
Он пел о том, что сокровенно,  
И ты его не обессудь  
За песен трогательную суть —  
Пока дерзанию нет предела,  
Пока Земля не оскудела,  
Ее ашугу петь в веках  
На трех гортанных языках!

(«Саят-Нова»)

Стихотворение, давшее название сборнику, также является своего рода поэтической переключкой нашего современника с Саят-Нова. Г. Онанян утверждает свою жизненную и творческую позицию: любить человека.

Был ли уверен Саят-Нова, что его песни помогают жить, что они служат хотя бы приближению победы добра над злом? Нет, но его дар обрекал его на служение, на веру в силу искусства:

Для тех, кто в мире нищ и сир,  
Разломит он свой хлеб и сыр,  
Воспрянет из последних сил  
Ашуг Саят-Нова,  
И песня будет как оплот  
Для тех, кто ввергнут в топь болот, —  
Для всех, кого зовет в полет  
Ашуг Саят-Нова!

(«Ваш друг и брат»)

Глан Онанян всю сознательную жизнь служит двум музам: науке и поэзии. Но его стихи — это не стихи физика. Я

имею в виду определенные параметры дарования, обычно приписываемые людям науки. Это стихи поэта, воспринимающего жизнь во многоцветье ее красок, звуков, запахов, яств:

В июльский день, неизмеримо длинный,  
Ты зноем захлебнешься — все равно  
В сырой земле, в плену певучей глины  
Таится сакраментное вино...

(«Фактура и пластика»)

Поэзия Г. Онаняна не злободневна. Если понимать под злободневностью все то, чем мы давно сыты и в чем никогда не испытывали дефицита. Она исполнена раздумий о связи явлений, о внутреннем отклике слова на все сущее, на вехи судьбы:

Тучи над степью, смотрят темно,  
Скованный цепью, ты только звено,  
Только страница книги судьбы,  
Только зарница в сизой степи...

(«Цепь»)

Это раздумья поэта, никогда не сворачивавшего со своего творческого и человеческого пути, хотя по всем признакам, по метам поколения, по самой сложности своей принадлежности к нескольким культурам путь Г. Онаняна не был путем легкого признания. И поэтому автору сборника «Ваш друг и брат» есть с чем обратиться к читателю.

Мария ФИЛИНА



Тамаз НАТРОШВИЛИ

## „Красавица, наша Матерь!“\*

В церкви Бетания перед фреской царицы Тамар стоит Григол Орбелиани, грузинский поэт, достигший восьмидесятилетнего рубежа, генерал русской царской армии. Душа его охвачена неизбежной тоской — бег времени оставил безжалостный след на «цветах юности» — и, предчувствуя неотвратимый конец, он еще раз хочет приобщиться к свету или несбывшейся мечте, что вдохновляла его на протяжении долгой и тревожной жизни, вселяла надежду и укрепляла силы. Сколько выпало на его долю, хорошего и плохого — участие в сражениях под чужим знаменем (так же, как, впрочем, и целому ряду его предков), уничтожение исторических врагов Грузии силой русского оружия. Его не оставляла тоска, то тайная, то явная, но разум, преодолевая сомнения, — убеждал, что выбор был неизбежен, ибо любая альтернатива вела к бессилию и бесперспективности. Его смелость и кристальная честность воина помнят Хертвиси и Ахалкалаки, Карс и Ахалцихэ, Хундзахи и Салатау. Страницы его жизни отнюдь не отмечены однообразием. Совсем молодым офицером он как участник заговора 1832 года отбывает тюремный срок в казармах Авлабара, а в 1871 году, в день 50-летия своей военно-административной деятельности, получает поздравления от самого императора России и высшую награду — орден Андрея Первозванного. Но в то же время сердце его сжимается от боли. «Неблагодарные дети» упрекают его в размене родной страны на чины и награды, ни во что не ставят

---

\* Начинаем серию статей Тамаза Натрошвили о выдающихся деятелях грузинской истории.

вклад «отцов» в усмирение турок и персов или гор Даге-  
стана.

И вот на пороге восьмидесятилетия Григол Орбелиани с благоговением смотрит затуманенными от слез глазами на прекрасный лик Тамар и произносит: «Радуюсь — смотрю на тебя, скорблю — и смотрю на тебя»; он готов прильнуть губами к стопам обожаемого образа, хочет продлить минуты блаженства, головокружительного экстаза, лишь бы не возвращаться в угрюмую действительность, забыть о «духовном падении родины». Уже давно любимое отечество не освещает величие Тамар, череда мрачных веков оставила свой неизгладимый след на думах и делах ее народа. Поэт молит царицу позаботиться о несчастной родине, освятить ее крестом. Как прежде освящала она войско перед сражением, помочь возрождению мощи Грузии, чтобы народ ее «стал нацией среди других наций», проснулся, обновился душой, и «развеялся бы мрак невежества». Но Тамар, возведя очи горе, не признает далекого потомка, отчаявшегося и униженного, исполненного сомнений, утратившего надежду...

В этом блестящем стихотворении Григола Орбелиани встречаются и традиционные упреки в адрес жестокого мира. и довольно прозрачные метафоры, дополняющие одна другую. служащие для выражения главного: «Неужели это все, что есть у нас? Глухая, непроходимая тропа, разрушенный храм в лесной чаще, где на древней стене нарисован лик царицы, великой Тамар!» В этих строках явственно звучит отчаяние и неверие в будущее... Избалованного победами, гордого воина точит горькая мысль о прошедших временах, а звезда обновления видится ему поглощенной туманом. Кто знает, не мечтал ли восьмидесятилетний поэт и генерал очутиться в том славном времени, обрести силу и бодрость духа и, не ведая раздвоения и колебания, слиться с тем войском, которое семь веков назад под знаменем Тамар готовилось к походу во имя защиты и величия родины?..

...Образ царицы Тамар на протяжении столетий, вплоть до наших дней, являлся несравненной музой грузинских поэтов. Каждому грузину памятли строки: «Воспоем Тамар-царицу, кровь слезя потоком красным» (Руставели); «Славься, Тамара, станом чинара /Высишься, солнце беззакатное, /Спел я на радость дел твоих сладость, /Солнца обличье — всем отрадное» (Чахрухадзе) и т. д.

Но не только грузинские поэты воспевали грузинскую царицу. Ее имя и дела отражены и в иностранной литературе.



Ей заслуженно воздавали почести и христиане, и мусульмане, ее знали повсюду — и на Западе, и на Востоке, словом, от Машрика до Магриба. Об этом свидетельствует «Житие Грузии», где мы читаем: «В Ираке пребывавшие музыканты, игравшие на гуслях и цитре, наигрывали славу, сложенную в честь Тамар. Франки и греки, корабельщики на море в благоприятную погоду произносили похвалу Тамар. Таким образом весь мир полон был ее хвалой, и всякий язык, на каком только произносилось ее имя, возвеличивал ее».

У читателя может возникнуть вопрос: допустим, все было так, как рассказывается в «Житии Грузии», где документы, подтверждающие эти сведения? Не являются ли гиперболой слова летописца о мусульманских сказителях-музыкантах и европейских мореплавателях, восхвалявших Тамар? Но мы будем гораздо ближе к истине, если допустим, что часть этих документов не дошла до нас, часть затерялась в неизвестных нам доселе рукописях и книгах, часть же (весьма незначительная), ставшая доступной для нас благодаря скрупулезным поискам и исследованиям грузинских ученых, вполне достаточна для подтверждения драгоценных сведений грузинского источника. Изучение нашей истории, прежде всего, наш долг. Ничто, кроме слов благодарности, не заслуживают зарубежные ученые, внесшие свой вклад в дело воскрешения нашего прошлого, но пальма первенства все же должна принадлежать нам, и скептическое отношение к нашему прошлому прежде всего должны преодолеть мы сами. Поэтому надо приветствовать тот факт, что неизвестные стихотворения Руставели, переведенные в свое время на арабский и опубликованные в 1942 году во Франции в переложении на французский язык, несмотря на сомнения ряда ученых относительно их достоверности, продолжают исследоваться.

Любой шаг настоящего исследователя, большой или малый, диктуется, естественно, стремлением познать истину, которая выражена в древнейшей мудрости — ищите да обряцете. Шестьдесят лет назад Зураб Авалишвили нашел в национальной библиотеке Парижа эпистолу французского рыцаря де Буа (XIII век). Не случись этого, мы так никогда и не узнали бы, с какой надеждой ждали обосновавшиеся в Сирии и Палестине крестоносцы появления «неисчислимого войска» грузин, которое должно было помочь им спасти гроб Господен. Во главе этого войска стоял юный грузинский царь, «равный по силе и доброте Александру Македонскому», которому предстояло исполнить завещание своей матери, «могущественней-

шей царицы Тамар» — предать иерусалимской земле ее прах. Если бы иранист Гиа Берадзе лет десять назад не обнаружил свидетельства персидского летописца XIII века ибн Исфандиара, мы, возможно, никогда бы не узнали о довольно оригинальной хвале Тамар, сказанной великим азербайджанским поэтом Низами Гянджеви. В стихотворении Низами, посвященном султану Абу Бакр, имеются такие строки: «Она веретено превратила в копье, а мы копье — в веретено, до твоего появления, который направит копье в сторону Грузии». (Последняя фраза, мягко говоря, не точна. Именно «копье» Тамар нанесло роковой удар войску Абу Бакра в битве у Шамхори). Восторг и удивление личностью грузинской царицы, которые выразил поэт-мусульманин, перекликаются со взглядами на Тамар, сформулированными в грузинских исторических и художественных памятниках. Низами кратко и метко рисует портрет Тамар, довольно неожиданный для него и непонятный (вместо веретена — копье!); ему, по-видимому, странно видеть на престоле женщину (в самой Грузии с этим тоже не сразу смирились), а тем более слышать о ее военно-политических успехах. Но ни другая вера, ни напряженные отношения его повелителя с правительницей христианской Грузии не мешают Низами Гянджеви смотреть правде в глаза, какой бы горькой она ни была.

Вышеназванный персидский летописец перечисляет почти всех выдающихся правителей Востока — египетского султана, багдадского халифа, султанов Ирака, эмиров Мекки и Медины... И в этом же ряду, но как-то особо упоминается имя Тамар: «И была жена по имени Тамар, государыня Тбилиси и Грузии, которая воевала у границ Гянджи и Аррана». Все это говорит об авторитете, который имели в то время в Передней Азии Грузия и ее царица.

Хотя в грузинских исторических или художественных памятниках Тамар и ее супруг, знаменитый полководец Давид Сослан, часто представлены как равноправные правители, арабо-персидские источники ни разу не упоминают последнего. Внешний мир признавал только одного правителя Грузии — царицу Тамар. Существует монета Тамар и Давида, датированная 1200 годом. На одной стороне ее выведены асомтаврули их имена, а на обратной — надпись на арабском, прославляющая только Тамар: «Царица цариц, величие мира и религии, Тамар, дочь Георгия, поклонница Мессии». Надпись на монете более красноречива, чем свидетельства летописца

или поэта, она более объективно отражает политическую действительность, официальную, признанную точку зрения.

Еще более удивительная картина предстает перед нами, когда мы смотрим на монеты Лаши-Георгия и Русудан. Вот как заявляют о себе дети Тамар и Давида Сослана: «Царь царей Георгий, сын Тамар» и «Царица цариц Русудан, дочь Тамар».

Известный нумизмат Давид Капанадзе считает, что эти монеты — уникальное явление в мировой нумизматике.

Еще в прошлом веке внимание ориенталиста Мари Броссе привлек русский литературный памятник XVI века «Сказание о Динаре» (имеется в виду царица Тамар), в котором нашли своеобразное отражение события из истории Грузии времен Тамар. Без всякого сомнения, непосредственным источником этого памятника явилась грузинская действительность, пропущенная сквозь призму художественной фантазии автора и идеологической концепции правителей тогдашней Руси. Интересно отметить, что, очевидно, знакомый с этим сказанием сам Иван Грозный вдохновлял свое войско перед сражением, приводя ему в пример царицу Тамар.

Вспомним лишь один фрагмент из вышеназванного произведения: когда правитель Персии (имеется в виду румский султан Рукн-ад-дин с огромным войском пошел походом на Грузию, грузинская царица обратилась к своим вельможам, озабоченным перспективой смертельной схватки с врагом, так: не предавайтесь отчаянию! Если мы не вооружимся для борьбы с неверными, если пощадим себя ради веры, все едино — быть нам погибшими или рабами. И погибнем мы опозоренными, так, что и память о нас не останется... Когда жар солнца высушивает землю, она долго после того остается бесплодной. То же может случиться с нашим государством и нашим народом. Как сможем мы вновь объединиться, если персы притеснят нас и обратят в рабов? Отбросьте страх, исполнитесь мужества! И я пойду с вами, забыв о женской своей слабости, я исполнюсь мужеской силы, надену доспехи, покрою голову шлемом, пристегну меч и возьму в руки копье. Я повежду вас, и мы сразимся вместе!..

Румский султан Рукн-ад-дин, «высочайший и величайший среди других султанов» имел немало врагов и соперников — Византию, Киликийское Армянское царство, Антиохийское княжество крестоносцев и... родных братьев. Но покончив с внутренней междоусобицей, Рукн-ад-дин, едва переведя дух, решил покорить именно Грузию и потерпел поражение в Ба-

сианской битве. Американский ученый Стивен Ренсимен в своей книге «История крестоносных войн» (Лондон, 1954) отмечает, что Рукн-ад-дин считал царицу Грузии «великую Тамар» гораздо более опасной угрозой для ислама, нежели любого латинского повелителя.

Как известно, находящаяся на рубеже Азии и Европы Грузия наряду с христианской культурой приобщалась и к мусульманской культуре, еще более обогащая свой собственный культурный потенциал. Но увлечение шедеврами персидской поэзии не имело ничего общего с политической ориентацией страны. Взоры грузинских политических деятелей были прикованы к Западу. К концу XI века на Востоке возникла реальная сила, способная поддержать Грузию, оставшуюся почти один на один с мусульманским миром, и занять место ее друга-врага Византии. Грузины с самого начала ощутили духовное единство с крестоносцами. Всем известны факты их союзничества и взаимопомощи во времена царствования Давида Строителя. Этой традиции оставались верны и преемники Давида.

В специальной литературе отмечается, что во время правления крестоносцев Иерусалимом (почти весь XII век) грузинские монастыри здесь переживали период «расцвета», поскольку у латинян не было никаких поводов портить отношения с далеким и сильным союзником. Борьба Грузии времен Тамар против мусульманского окружения, естественно, воспринималась крестоносцами как составная и, пожалуй, основная часть их движения. Французский ученый Ренэ Грусэ в своей книге «История крестоносных войн» (Париж, 1934), говоря о контактах Давида Строителя и его преемников с крестоносцами, подчеркивает, что та же тенденция наблюдается и в военно-политических акциях Грузии эпохи царицы Тамар: «Во времена царствования великой Тамар грузинское воинство с выдающимися полководцами Захария и Иванэ Мхаргрдзела во главе с триумфом вторглось в Эрзерумскую и Эрзинджанскую провинции, освободило и закрепило за собой Карс, разбило наголову азербайджанского атабека, с боями дошло до Ардебиля и ворот самого Тавриза».

Не случаен тот факт, когда после взятия Константинополя (1204 г.) лидеры четвертого крестоносного похода, разбив на мелкие княжества всю Византийскую империю, не тронули Трапезундское царство, созданное при участии и помощи Тамар и считавшееся территорией, находящейся в сфере

ее влияния. В связи с этим сошлюсь на современного немецкого исследователя Анну Доротею фон Бринкен, которая, изучив многочисленные европейские источники, приходит к следующему выводу: «Если сравнить оценку латинянами греков и грузин, разница поразительная! И те, и другие для Запада еретики, но каждый латинянин положительно оценивает грузин. С первого крестоносного похода они являются для них идеалом преданности вере».

Грузия эпохи царицы Тамар, так же как и Давида Строителя, считает себя покровительницей и защитницей христиан Востока. Когда султан Ардебиля разорил город Ани и залил армянские церкви кровью христиан, из Тбилиси в Ардебиль немедленно была снаряжена карательная экспедиция. Не зря писал армянский летописец Вардан: в эпоху царствования Тамар христиане обрели силу. Как известно, царствование Тамар не было безоблачным и покойным. Чего стоило хотя бы ее вынужденное замужество! Как мудро отвечала молодая царица своим не отличавшимся глубоким умом советникам: «Как можно делать такой необдуманый шаг? Мы не знаем ни о поведении этого чужеродного человека, ни об его делах, ни об его воинской доблести, ни об его природе и ни о нравах. Дайте мне переждать, пока не увидите достоинства или недостатки его». Увы, никто не услышал ее... Или вспомним хотя бы наступление на «безродных», организованное вельможами сразу же после воцарения Тамар... Далее — новая политическая программа государственного управления, предложенная Кутлу Арсланом, преследующая цель лишить реальной власти царицу и сделать ее марионеткой в руках вельмож... Вспомним и 1191 год, когда сильная оппозиция примкнула к изгнанному первому мужу Тамар — Юрию Боголюбскому. Тогда его в Гегути «возвели» на престол и направились в Тбилиси свергать Тамар. Но царица была выдающимся политиком, в борьбе с внутренними или внешними врагами она всегда проявляла твердость и спокойствие, осмотрительность и осторожность, равно владела мечом и словом, часто добиваясь успеха мирным путем, шла на небольшие уступки ради будущих больших побед.

Апофеозом мощи грузинского государства явился поход в Северный Иран, состоявшийся в последние годы жизни Тамар, когда грузины «ушли так далеко от родных мест, туда, где никогда даже не слышали о них...» (Летописец, безусловно, выражается фигурально, ибо не только в Гургане и Хорасане, но и гораздо дальше знали о грузинах и их царице).

Необыкновенный расцвет культуры, экономическое процветание, гуманное правосудие, характерные для того времени, которое мы называем обычно «Золотым веком», — все это связано с именем Тамар. Сколько интересного материала содержат грузинские источники, и несмотря на то, что они исследованы и проанализированы (порой, с противоречащими друг другу выводами), все же остается еще нечто, требующее нового взгляда, нового осмысления...

Мы же приведем здесь некоторые высказывания, лаконично и красноречиво характеризующие деятельность Тамар и, несомненно, не требующие никакого пересмотра или переоценки.

Вот, как суммировал свои суждения о Тамар Иванэ Джавахишвили: «Великое имя Тамар было почитаемо ее современниками и потомками потому, что сверхъестественною силою в ней соединились чарующая женская красота и истинно мужское мужество, мудрость политического деятеля и непорочное, всепрощающее доброе сердце».

Английский историк Вильям Аллен, автор книги «История грузинского народа» (Лондон, 1932) писал: «Тамар была патриархальным, мудрым и пуританским правителем, осторожным, умным дипломатом, стойким воином, верующей, милосердной и терпимой государыней».

По словам французского ориенталиста Мариуса Канара, «успех политики Тамар сделал ее самой популярной фигурой грузинской истории и легенд... Ее красота восхищала подданных и вдохновляла на героические дела, освещала победный путь ее военачальникам».

...Изящнее всего, мне кажется, выразил отношение потомков к царице Тамар Важа Пшавела, который, обращаясь к ней, «привычной к хвале Руставели», со свойственной ему почтительностью и скромностью сказал: и я осмелюсь воспеть тебе хвалу и все же боюсь, вдруг «сокровищнице добродетели» не понравится приветствие, сказанное «взраченным как раб стихотворцем, бедным Пшавелой», но право смертного возносить молитву и мольбу божеству наполняет его душу смелостью и мужеством. Поэт как бы отрешается от земных страстей, всеобщего горя и собственной боли, вызванных превратностями жизни, и от имени всего грузинского народа беседует с царицей, почившей семь веков назад: «Зря говорю я о твоей смерти, для меня ты, Тамар, жива».

...Май 1915 года. Важа Пшавела осталось жить два ме-

сяца. Смерть, которая проторит тропу к бессмертию поэта, близка. Жизнь его была щедрa на горечи и яд. Но бессмертие избирает достойных, независимо от того царь ты или простолюдин, избалован судьбой или жестоко обижен ею.

Бессмертие на пороге, и поэт молит Тamar уже от лица будущих поколений, будущих веков: «Будь милостива к нам, грузинам, красавица, наша Матерь!».

Эти слова, одновременно простые и гениальные, несущие в себе библейскую ясность и глубину, эстафетой дошли до нас и продолжают свой путь в завтра.



Мераб МАМАРДАШВИЛИ

## Вена на заре XX века

Я заранее прошу простить меня, если тон, выбранный мною, не совпадает с вашими ощущениями, потому что тон этот сугубо личный; философия не профессия, а темперамент и способ жизни, и я не могу вам сообщить никакой суммы знаний, а лишь только передать нечто совершенно интимное и потому рискованное в смысле понимания.

Есть какие-то опыты человечества, которые отливаются в крупные фигуры, манящие нас своей явной значительностью, таинственностью и каким-то магнетизмом.

Венский или австрийский опыт, безусловно, относится к таковому, и перекресты с этим опытом, в нашей жизни случающиеся, совершенно не зависят от нашей учености, от того, насколько мы знаем всю мировую литературу, насколько имели к ней доступ (а доступа мы к ней не имели, как вы знаете, во всяком случае мое поколение). Я просыпался в одном из самых темных мест черного туннеля, и не видно было никакого просвета.

Но есть тайные пути наших испытаний, тайные пути нашего бытия, которые, неожиданным для нас образом, созвучны с тем, что обычно мы получаем путем учености, знаний, общений, движений по миру и так далее.

Опыт, который совпал, — это тот, благодаря которому человеческая цивилизация предстает перед нами, как нечто чрезвычайно хрупкое и тонкое, подобное покрову из легчайшей ткани, сотканной невидимыми силами, в которых, конеч-



но, участвуем и мы, в зависимости от нашего усердия и усилия, в зависимости от того, насколько в молодости проснулись в нас гордость и достоинство, совершенно особое достоинство существования, уникального в любом из жизненных проявлений, проснулась страсть чувствовать себя существующими и убеждаться вновь и вновь в неотменимости нашего существования.

Вы, наверно, знаете по себе, что есть целый ряд наших же жизненных проявлений, осуществляя которые мы не чувствуем себя живыми или существующими.

Есть прекрасная фраза у Мандельштама... Кстати говоря, у некоторых русских поэтов, наделенных метафизическим чувством, тянулась эта нить связи с опытом начала века и было очень глубокое и широкое историософское дыхание, то есть не просто участие в истории — невольное, кстати, участие — а принадлежность к каким-то глубинным силам и смыслам истории и продолжение этих смыслов. Я имею в виду Пастернака и, прежде всего, Мандельштама, у которого есть прекрасная — не оговорка, конечно, но она выглядит, как оговорка в тексте — фраза о том, что высшее честолюбие художника — **существовать, пребыть.**

Именно этим занималась Вена начала века. И там сплелись нити, которые интересны для нас, потому что они воспроизводятся сегодня в нашем опыте, в нашем отношении к миру и к самим себе, являются составными частями нас в той мере, в какой мы решаемся существовать или быть, в том числе, — жить своей жизнью, а не чужой, умирать своей смертью, а не чужой. И для нас это особенно важно, потому что миллионы людей не просто умерли, а умерли не своей смертью, то есть такой, из которой никакого смысла для жизни извлечь нельзя и научиться ничему нельзя.

Это основной опыт XX века, и из ада никто не возвращается с полными руками, из ада все приходят с пустыми руками.

Шаламов очень хорошо разъяснил нам это, считая, что русская классическая, гуманистическая литература обманывала нас насчет человека — она не предупредила нас.

Но, очевидно, предупредить очень трудно. Ведь предупреждала нас Вена, только мы не слышали. Может потому, что это было очень близко: в действительности историческое время не совпадает с хронологическим. Ведь то, что в хронологическом времени растянуто на десятилетия и кажется нам сегодня давно прошедшим, в действительности происходит сейчас, и мы

находимся, в каком-то смысле, в той же исторической точке, в той же точке исторического времени, в которой находились художники, мыслители, публицисты и музыканты Вены.

Но, я повторяю, в этой же точке мы прошли ад, а из ада узнать ничего нельзя. И не случайно существует старый античный символ, символ-запрет оглядываться на тот мир, т.е. есть на ад, выходя из него, если кому-нибудь из смертных повезет, оказавшись в том мире, вернуться из него в жизнь.

Вот эта передаваемость опыта, невозможность выйти из ада не с пустыми руками — символизирована в запрете: нельзя оглядываться, выходя. И эти миллионы, на которых мы даже оглянуться не можем, потому что опыт бессмыслен и несообщаем, это все — что и забыть нельзя, и простить нельзя (простить, конечно, не в простом юридическом смысле этого слова, а в глубоком религиозном или духовном смысле) — эти миллионы зовут нас к какому-то акту осознания самих себя и глубокого преобразования самого нашего существа с помощью каких-то сил, которые греки называли «кайросом», иными словами, благоприятствующим случаем, имея в виду, что не все достижимо человеческими силами, что где-то, на максимуме напряжения человеческих сил, вмешиваются или индуцируются еще какие-то другие силы и случается то, чего человек не мог бы произвести сам.

То, что я сказал — это опыт сегодняшнего дня, но главным образом это есть опыт начала века, добытый всей плотью и кровью разных людей в Европе: французов, немцев, австрийцев.

В австрийцах мы можем почувствовать странную вещь — при условии, конечно, что сами заглянем в себя и осознаем тот опыт, который не миновал нас в российском пространстве.

Я сказал, что человеческая культура и цивилизация — очень тонкая, деликатная ткань. Ткется она невидимыми руками и как бы на вулкане, прикрывая какие-то бездны. Тоненький слой на этих безднах может легко прорваться, и опыт, о котором идет речь, — именно об этом: как легко рвется эта ткань, которую ничего не держит: ни внешние силы, ни подчинение человека внешним нормам. Собственно, значение человеческой культуры естественно было бы понимать следующим образом: человек перестает быть животным и становится человеком по мере того, как начинает подчиняться определенным культурным нормам. Так вот — нет же, этого недостаточно, ни нормами этого нельзя достичь, ни следованием традиции.

На чем же все это подвешено? Ницше предупреждал Ев-

ропу: если вы добры потому, что должны силой нормативированного общества и культуры быть добрыми, то это очень шаткое основание — под этим основанием воют фурии. Если вы думаете, что можно естественным образом продолжать традицию, как если бы она была просто самой жизнью и ты бы мог продолжать ее так же, как продолжаешь жизнь, — то это заблуждение. Можно подумать, что традиция — как твое дыхание: ты дышишь и живешь, чему-то следуешь и тем самым продолжается и традиция. Между тем, человеческий опыт кричит о том, что нет этого, что ткань, которая ткется над этой бездной, — иная: и ткачи другие, и узлы свои она завязывает иначе, что бытие — высшая доблесть человека или существования — ничем не гарантировано, нет никакого механизма, который единообразно и надежно воспроизводил бы эффект существования и бытия.

Но человечество не покидает мысль о возможности изобретения некоего вечного двигателя человеческого счастья и благоденствия. Марксизм явно был попыткой такого рода изобретения. Однако невозможно изобрести такой механизм, который, будучи однажды налажен и установлен, обеспечил бы своим действием надежную устремленность человека и человеческого счастья.

В бытие мы лишь впадаем, чтобы тут же из него выпасть, так же как мы впадаем в мысль, чтобы выпасть из нее, не имея возможности положить ее в карман, чтоб потом, по мере надобности, вынуть и использовать. Мы можем только заново впасть в прозрение, в мысль или в бытие.

Вот об этом учит и это испытала на себе Вена начала века.

Я бы сказал так, что великие австрийцы Витгенштейн, Гуссерль, Фрейд, Музиль, Кафка, Шенберг — можно бесконечно перечислять их имена — вернули нам гордое достоинство бытия, которое недостойно, если оно само собой разумеется, если оно механически может быть налажено, и достойно, и может быть продуктивной гордостью в человеке бытийствующем, если оно не может быть гарантировано полностью и навсегда.

Ангелиус Силезский, средневековый поэт и мистик, как-то сказал так (и в том, что он сказал, проглядывает глубинное устройство, или, как выражаются философы, структура бытия): есть какие-то неумолимые законы бытия, которыми нельзя пренебречь и незнание которых оборачивается отрицательными последствиями действия этих законов. Есть что-то, что мы в

принципе не можем, так же как не можем изобрести вечный двигатель — он невозможен, есть запрет.

И в философии есть ряд истин, которые похожи на этот принцип термодинамики, из чего вытекает очень много интересных мыслительных последствий, которые я не буду здесь излагать, потому что они требуют технического языка и аппарата философии. Обратимся лишь к вашим жизненным интуициям.

Это неуклонная, непоколебимая структура бытия как целого, которая сплетается в какие-то связности, и задача человека — лишь считаться с теми ограничениями, которые налагаются на наше мышление, на наши действия, на нашу возможность существования или пребывания в этих связях.

Ангелиус Силезский, которого я упомянул, говорил, что Иисус Христос мог тысячу раз родиться в Вифлееме, но если он не родился снова в твоей душе, то ты все равно пропал, погиб.

Умеем ли мы читать поэзию? Вот эта фраза Ангелиуса Силезского — поэтическая фраза, и в ней поэтическими словами сказано то, что я пытался выразить на своем грубом и неуклюжем языке, на языке философском.

Бытийное прошлое — скажем, рождение Христа, — не может быть ступенькой, на которую можно стать, чтобы идти дальше. Если что-то случилось вчера, это не гарантия того, что это остается сегодня, и что это ты можешь сделать завтра, потому что это случилось вчера. Казалось бы, потому что Христос родился в Вифлееме, можно то-то и то-то, завоевано то-то и то-то... Нет, не завоевано. Ты все равно пропал. Нет, не гарантировано твое спасение, если снова не родился Христос в твоей душе.

Я думаю, что иначе и не было бы смысла в жизни, и не стоило бы такую жизнь жить, в которой все уже распределено и гарантировано. Тогда акт жизни, то есть **собственного переживания** фундаментальных отношений, был бы избыточен и избыточен, так же как не нужно было бы любить, потому что любили миллионы людей до нас и природа любви, казалось бы, известна. Зачем мои переживания, каково место их в мире? А это вот и есть страсть — **пребыть**, потому что иметь честь существовать — это означает привнести свои переживания в уникальные переживания всего того, что, казалось бы, давно уже общеизвестно и изжевано — привнести их в мир, не как лишнее в нем, а как то, в чем мир нуждается, чтобы вращаться дальше. И если убрать этот кирпичик, маленький такой кирпичик, из всего строения мира, то мир весь рухнет.

Мы знаем проблему Запада и Востока. Австрия начала века — первый розыгрыш или проигрыш этой проблемы. Я бы сказал, что потом Россия приняла на себя (весьма неудачно, на мой взгляд) эту роль, — роль средоточия проблемы Запада и Востока — в простом очень смысле. Сейчас я полсю эту мысль, может быть, вы ее не примете, но если мыслить, то иначе мыслить невозможно, поскольку, как в бытии, так и в мысли есть неумолимые законы.

Запад и Восток — это две вечные стороны состояния человечества; это не география, это два вечных момента. Если это так, то они, по определению, не могут пересечься и не могут конфликтовать один с другим; не может быть конфликта между Западом и Востоком как вечными моментами человеческого состояния — мы или в одном состоянии, или в другом. Но возможно некоторое пространство, в котором эти стороны могут быть приведены в соотношение — пространство, в котором они могут встретиться и вступить в конфликт.

Австрия была таким пространством в начале века. В Австрии европейский Запад имел дело со своим собственным Востоком.

В России то же самое случилось в XX веке, и поэтому я могу утверждать, что сегодня мы находимся и живем в той точке, которую можно обозначить 1895 или 1885 годом. Поражнему можно выбирать эту дату, чтобы поместить в нее одновременно, скажем, Бодлера или кого-нибудь из австрийцев, 1895 или 1913 год — на сломе веков или на сломе, произведенном первой мировой войной.

Первая мировая война разыгралась дважды: ее же воевали во второй мировой войне, то есть это как бы одно событие, в котором какие-то фундаментальные толчки всей тектоники Европы проявили себя на поверхности, проявили себя событиями, явлениями, по сегодняшней день являющимися для нас загадкой, которой мы зачарованы и которая имеет к нам фундаментальное отношение. Мы решаем те же проблемы, которые решали люди перед лицом тех странных вещей, что проявились в шевелениях австрийского Востока, и затем в феномене первой мировой войны.

Здесь же выступила еще одна значимая оппозиция — соотношение культуры, истории или ума (обозначим все это одним словом) — со стихией; или соотношение неорганического, неприродного и органического. История, культура, мысль — неприродные образования, поскольку они основаны на одном неприродном или «искусственном» явлении, которое называет-

ся свободой. Природные явления не знают свободы, и в этом смысле свобода — неприродное, неестественное явление. Отсюда следует, что не может быть естественных механизмов свободы. Если есть механизмы — нет свободы, а если есть свобода — то это означает некий неприродный элемент.

Чем занимается Вена начала века? Основная проблема психоанализа — это отношения между органическим и культурным, или свободным. Итак, существует проблема ума и стихии, и человек, естественно, будучи существом свободного происхождения, своим психизмом, своим телом или своей массовостью в качестве общественных коллективов вплетен в природные процессы, продолжает быть их частью — это как бы кентавр, который живет одновременно в мире свободы и в мире природы.

Австрийцы имели разум, которому оказалось под силу заметить и наблюдать те трещины, что проходят по этому сложному и динамическому соотношению между двумя сторонами человеческого существования, то есть той стороной, которая живет в мире свободы и по законам свободы, и другой, которая живет в природном мире по законам природы, по законам стихии.

Основной и еще более существенной была нить отношений между законом и тем, что можно было бы назвать условно силой языка. Я уже отметил частично — наше бытие таково, что в нем не может что-то случаться в силу следования внешней норме или подчинения человека внешней культурной норме. Скажем, я — природное существо, подчиняясь наложенным на меня культурным ограничениям, живу как бы естественной жизнью, где культура почти что совпала с моим жизненным процессом и так же осуществляется, как осуществляется мое дыхание. Я живу, как дышу.

Это точка человеческой трагедии, то есть трагического бытия человека, как конечного существа, решающего при этом бесконечную задачу.

Бытие — драма, история — сцена этой драмы. Вот этот трагизм человеческого бытия может быть выражен в евангелической оппозиции между законом, как выражается апостол Павел, и силой языка.

Все ситуации Кафки очень легко расшифровываются, если их понимать в этих терминах. Всякий «замок» у Кафки или всякое внешнее обусловливание — это закон. И вот то, что происходит в этом законе, если не действует какая-то другая

сила, — мы видим в приключениях героев Кафки. **Что это за другая сила? Это — сила языка.**

Скажу так, опять же повторяя евангелический **СМЫСЛ, ЧТО** до Христа были закон и пророки, а после — есть понедельник, вторник и так далее, и, кроме семи дней недели, есть еще один день — сегодняшней день, иначе называемый **вечным настоящим**. Мандельштам называл его «динамическим бессмертием»...

Возвращаюсь к евангелической фразе: до Христа — закон и пророки. Закон — это заветы, нормы, завещанные нам, и мы им следуем. Пророки выкрикивают истинное положение дела, если закон зациклился, а он всегда на каком-то шаге формализуется и, в этом смысле — человеческом смысле, — зацикливается. И вот, остается юродивым выкликать истину, напоминать о смысле закона, который зациклило и который заформализовался.

А сегодня, после Христа, сегодня, повторяю, — вечное настоящее, «динамическое бессмертие», сегодня — царство Божие — усилием берется.

**Усилие и есть язык или голос присутствия**, который есть проявление твоего усилия или действия над собой, самостоятельного переживания — в том числе уже существующих истин.

Вот эта напряженность свободного усилия — она и есть то, что называется силой языка, которая предполагает внутреннее действие над собой, но кроме этого, необходима столь же существенная публичность, сообщаемость другим твоего участия в тайной нити человечества.

А человечество, как говорил Кант, есть не что иное, как коммуникабельность, поток, ток, проходящий через все особи, если он проходит, — а может ведь и не проходить, — но вот он проходит, и это и есть человечество.

Так вот, этот проходящий ток — он существует, то есть существует человечество, но при условии, если в узлах, образуемых этим потоком (а мы — каждое лицо по отдельности стоим в этих узлах), совершается усилие. И на волне, поднятой этим общим усилием, скользит нить бытия или огонь бытия, который передается... я хотел сказать, из рук в руки, и так и следовало сказать, помня, однако, притом, что это — метафора, говорящая как раз о том, что бытие нельзя иметь раз и навсегда. Огонь ведь и в самом деле нельзя взять руками; огонь обжигает форму, а сам уходит, скрывается.

Наши австрийцы вот этот огонь и высвобождали. Это бы-

ла проблема нового времени, модерна или модернизма. Сейчас очень модно употреблять слово постмодернизм. Ясно, конечно, что никакого постмодернизма не существует и существовать не может, потому что, если я — в этой точке нового вспыхивающего пламени, которым сейчас обжигается форма, то в этой точке нет никакого будущего, никакого после. Это — вечность или динамическая вечность, или — некоторый предмет, пребывающий во времени и как бы плывущий по волнам времени и не меняющийся — и в этом смысле вечный.

«Нет вечности во времени», — говорил Мандельштам, считая, что христианство впервые внесло в мир вертикальное сечение. Мы ведь мыслим и представляем себе все последовательно, как бы в горизонтали, и в горизонтали обсуждаем вопросы изменчивого и неизменчивого, преходящего или вечного, а это не так. Это — вертикаль, рассекающая нашу горизонталь, опущенная откуда-то, и пересекается она со временем только в точке усилия.

Человек в этом смысле полон времени, то есть усилия. Сама жизнь может быть определена как **усилие во времени**: или **усилие остаться живым**. И в этом смысле человеческая жизнь есть некая историческая точка, окруженная бездной хаоса и распада, и этот хаос и распад окружает каждую точку, а не поджидает где-то, в конце, чтобы явиться после прохождения плоскости жизни. Хаос — не в будущем, не **после того, как уже прожит порядок**, он сейчас окружает изнутри каждую точку порядка. Жизнь же есть нечто, что питается порядком, а не материальными элементами порядка. Этот порядок дан в исторической точке, и я бы сказал так, что эта историческая точка — есть как бы мы сами на безумно закрученной кривой, мы, пытающиеся удержаться на ней и остаться живыми.

Возьмем эту метафору. Давайте пользоваться всяким человеческим опытом, просто из уважения к нему, так, чтобы смысл его перетекал бы в нас, чтобы тем самым мы дарили человечество, ведь я сказал, что человечество — это ток, который проходит или не проходит. Человечество есть сама эта передаваемость.

Так вот, если мы вбираем в себя смысл живого голоса других людей, переживших бытие, то и мы сами живы и можем делать то, понимать и достигать того, чего не могли бы достигнуть просто своими силами. И метафора оживления мертвых означает только это, в отличие от российских космократических утопий, где буквально материализуется смысл



возрождения — в то время как духовный символический смысл этого гораздо более продуктивен для человечества и для его возрождения, вернее, единственно продуктивный для нее.

Напомню, что жена Мандельштама, Надежда Мандельштам, обычная, не слишком умная, как всякий обычный человек, женщина, настолько любила своего мужа и друга и настолько «держала» его живым, — его самого, как такового, а не свои представления о нем (тем самым до конца понимая, что он умер), — что постигала вещи как бы силами Осипа Мандельштама, а не своими собственными. Она была как бы амплифицирована, ее силы были усилены Мандельштамом, который оставался живым.

Такого рода возрождения диктуются нам простым уважением к подвигу и усилию других людей.

В этом смысле мы должны достойно оценить австрийцев, и если они будут живы в нашем понимании, это будет означать, что нам добавляется еще и их жизнь, что мы вбираем в себя ее и растем.

Историческая точка — довольно драматическая вещь, и это можно испытать на себе. Это точка свободы, предполагающая некое действие над собой, то есть действие над нашим телом, психикой. Это некоторое первичное насилие свободы, осуществляемое свободой и усилением свободы над нашим естеством.

Посмотрите, что происходит в «Человеке без свойств» Музиля (то же можно заметить и в начинавшемся в Вене экспрессионизме). Вы увидите крик человеческого тела под грузом необходимости выполнения акта свободы (без которого, разумеется, немислимо все здание культуры), он мучителен для человеческого естества, так же как было наверно когда-то физически невыносимо при поедании чего-нибудь орудовать ложкой, вместо того, чтобы раздирать еду руками. В конце прошлого и в начале этого века в разных местах земного шара проделывались опыты над так называемым первичным человеком, то есть таким человеком, который волею судьбы или обстоятельств не рос в нормальном человеческом обществе, а младенцем был закинут куда-то (как, скажем, Маугли; у немцев это проделывалось иначе) и потом вдруг ввергается в знаковое пространство или искусственное пространство человеческой жизни, человеческого общения и человеческого исполнения простейших жизненных актов, таких, как есть ложкой, а не раздирать зубами, не вползать в пещеру, а входить в дом и так далее.

У Музиля хитросплетения светских затей и параллельного

действия всяких культурных проектов возрождения и истории сопровождаются изображением событий, которые происходят на теле Ноорсбругера.

Это — тело, раненное культурой. Где-то, когда-то, почему-то, в силу выпадения из человеческих связей, пропущен момент включения в искусственность культуры — и затем тело только с мучениями, со скрежетом может жить, окруженное миром знакомых действий, символов и так далее.

Эта вот естественная жизнь, как бы органическая, в данном случае изуродованная попыткой быть свободной жизнью — это и есть метафора Востока — то есть исчерпанность целостности австрийской культуры, конечная точка ритма и пульсации, где необходимо было уже новое усилие, в котором выработаны были бы новые формы реализации своего существования. . . . .<sup>1</sup>

Человек всегда должен видеть в себе собственное лицо и уважать себя, подстраивать себя под возможность уважать себя, узнавать себя в качестве инстанции уважения — без этого нет человеческого существа.

К сожалению, это узнавание себя достигается часто весьма причудливыми путями, в том числе путем редукции, игнорирования реальности, нечувствительности к мерзостям, к убийствам и так далее, потому что информация эта, этот неприкрытый образ бесчеловечного в человеке может разрушить его отношение к себе самому, лишить его права на самоуважение.

Иногда, чтобы только иметь возможность продолжать уважать себя, чтобы воспроизводилось это самотождество или самоидентификация, человек готов убить миллионы других людей.

Оппозиция, которую я ввел, является могучей психической силой. Я говорил — ум и стихия, — но здесь сам ум перекинулся в лебеду, то есть стал частью стихии, и стихийные импульсы стали выполняться механизмами псевдоума. То есть я продолжаю устанавливать равновесие с самим собой своими рассуждающими средствами, но через это лишь реализую стихию, природную стихию, отличающуюся тем, что стихия не знает форм и индивида.

Ветер — стихия, стихия воздуха; не случайно греки пытались представить стихии в виде таких доступных человеческому восприятию и разумению элементов, как вода, воздух, огонь, земля. Так вот, ветер в принципе невидим, а также слеп

<sup>1</sup> Пропуск в записи (ред.).

и сам, он не может видеть лица, отпечатка человеческого следа, который есть носитель смысла. Человеку дана способность воссоединить связующую нить человечества, расшифровав то, о чем говорит этот след, как часть человеческой истории. Ветер же стирает все следы — он не видит форму, не щадит ее так же, как любую неровность почвы — они все равнозначны для стихии ветра. Точно так же форма, лицо могут оказаться лишены значения, одинаково безынтересными, неразличимыми для стихии человеческой материи — для стихии нашего психизма, особенно там, где он возгорается в точках соединения психизмов и превращается в так называемую массу, толпу, в эффект массы.

Это называется развязыванием стихийных сил, и австрийцы первыми (я не говорю о Ницше, который предупреждал об этом) пытались лицом к лицу стать с обликом такого рода стихий, взглянуться в их действия на фоне застывших форм какой-то вечной красоты и достоинства. Отсюда античные мотивы современной живописи, архитектуры, прозы начала венского XX века.

Такой холодной, отвлеченной красотой пронизан один из лучших философских текстов — «Логико-философский трактат» Витгенштейна. Он является одновременно и знаком человеческого достоинства, и знаком человеческой хрупкости. Эти вот непреходящие, застывшие образы высокого, то есть истинной красоты, добра, человеческого достоинства — это то, о чем нельзя говорить, о чем нужно молчать. Это то, что Витгенштейн называет мистическим. Кажется, будто ему приснился мир, и всю последующую жизнь он безуспешно пытался помыслить то, что ему пригрезилось во сне — и это есть еще одно доказательство хрупкости всего высокого в человеке, в том числе и мысли. Мысль тоже нельзя иметь, ее можно лишь пытаться снова и снова мыслить, нельзя отложить, завоевав, и потом обратиться к ней по надобности — владеть ею нельзя.

И вот этот мир владений на минуту — мир, которым правит гераклитовская молния или пифагорийский миг, мир, в котором что-то можно держать лишь на гребне волны возобновляемого усилия, мир, в котором исторический миг в самой этой точке окружен хаосом и распадом, мир, в котором Страшный Суд — это не то, что случится после того, как уже прожита жизнь, а то, что коренится в каждом моменте нашей жизни. Это хорошо высвечивается у Рильке, в неслучайной, отнюдь, метафоре «Часа часов», «Часослова». Рильке понимает интимное, внутреннее устройство бытия, в котором Страшный Суд указа-

ние на свойство каждой минуты нашего существования, а не чего-то, что с нами будет в некоем будущем, которое было бы лишь продолжением горизонтали нашего взгляда. Я ведь уже ввел уже понятие вертикали, метафизической религиозной вертикали, — так вот, в этом сечении Страшный Суд означает простую вещь: здесь и сейчас ты должен извлечь смысл из опыта, чтоб он дурно потом не повторялся, должен завершить жизнь и возродиться или воскреснуть из обломков и пепла прошлого: прошлое мыслится в этом контексте, как враг бытия и враг мысли, а мы — как его жертвы, если мы этот гонг или звук рога Страшного Суда не слышим и не завершаем, если мы не заканчиваем наш опыт здесь, на месте. Незавершаемость опыта, — а отсюда и тягомотина дурных повторений бесконечных адовых мучений, когда нельзя умереть и нужно жевать один и тот же кусок — это Россия XX века. Гений повторений как бы разгулялся на российских просторах, и повторяются мысли, и сцепления, и драмы, которые были 190 лет назад, повторяются как в дурном сне, а это означает, что там, на своем месте и в свое время не был завершен опыт, то есть не умирали, чтобы воскреснуть, и поэтому вечно умирают и никак не могут умереть, и могут только молить о смерти.

И Рильке говорит: здесь склоняется час, на тебя склоняется час — это и есть устройство бытия, символизированное Страшным Судом, где как бы, простите за прозаизм, подводится итог, «подбиваются ошибки», но бабки подбиваются не после смерти, а каждую минуту твоей жизни, и это является свойством каждого существенного опыта, где важно не пропустить час. На тебя склоняется час в том смысле, что ты здесь, сейчас, должен извлечь смысл из опыта, завершить опыт, закончить. Не закончил? Ну что же, тогда все сцепится вновь и будет прокручиваться без конца, как в повторяющемся кошмаре.

И это прекрасно, кстати, почувствовал Евгений Трубецкой. Многим русским мыслителям пришлось писать свои книги перед лицом смерти так же, как пришлось австрийцам рисовать, музицировать, философствовать в атмосфере, отмеченной смертельной опасностью. Русским пришлось это делать, например, в 1918 году, когда они, умирая от голода и холода, рукописями разжигали печки, чтобы при слабом их свете и тепле писать последние свои книги. Я имею в виду книгу Трубецкого «Смысл жизни», где он метафору ада — который ведь и сам по себе, целиком является метафорой, знаком структуры нашей духовной жизни, ее предельных возможностей — расшифровывает как

вечную несмерть. Мучение состоит в том, что ты повторяешь одно и то же и никак не можешь довести что-то до конца, жуешь один и тот же кусок, бежишь — мы ведь живем, чтобы прибежать куда-то, — а это — вечный бег в аду. Наказание ада — все адовы наказания и такого вот рода тягомотины. Смыслом и сутью наказания в действительности является тут не физическая жестокость, а вот это, самое страшное, — это, вот, повторение. Как в вязком страшном сне: разыгрывается все время одна и та же история, и так до конца, то есть нет смерти, которая бросила бы свет завершеного смысла на происходящее.

Читая Рильке (я имею в виду «Час слов»), чувствуешь — это ты, о тебе, это — сейчас происходит. Это вообще свойство всякого глубокого опыта, который когда-либо, кем-либо был проделан: он тебе передается, и ты чувствуешь, что это о тебе речь идет, это происходит с тобой сейчас.

Новый язык напичкан всякими стандартами, скажем, мы говорим: «русская культура», «грузинская культура», и о своем опыте нет возможности сказать что-либо без уже стандартизованных слов. И тогда получается, что я говорю от имени русской культуры и от имени грузинской культуры, как будто такие вещи существуют.

В философии нет никаких культур, философия, как и искусство, — акультурное занятие. И это тоже один из уроков Вены начала века. Так вот, невольно, говоря об этом, я должен употребить слово «грузинский», и это с самого начала смещает то, что я хочу сказать.

Свою принадлежность к коммуникации, начавшейся много тысячелетий тому назад там, у себя, на своем месте, назову грузинской. У меня было ощущение одного таланта, собственного пространства, в котором я родился и вырос. Я бы назвал это — талантом жизни, или талантом незаконной радости. Я ощущал его в людях, меня окружающих, и в воздухе, и в себе я это ощущал, правда, упрекая себя в некоторой тяжеловесности по сравнению с моими соотечественниками. Радость же наша была именно легкой и воистину незаконной: вот нет никаких причин, чтобы радоваться, а мы устраиваем радостный пир из ничего. Эта вот незаконная радость есть нота того пространства, в котором я родился. Это особого рода драгизм, который содержит в себе абсолютный формальный запрет слягощать других, окружающих, своей трагедией: они не виноваты в том, что у тебя трагедия. Есть абсолютный запрет на обсуждение этого вслух, на размазывание, на превра-

шение во взаимный суд выяснения отношений, и уж, в этом случае, категорический запрет на перемалывание своего трагического состояния на чужих спинах. Перед другими должен представлять веселым, легким, осененным вот этой незаконной радостью. Звонящая нота радости, как вызов судьбе и беде; стнять такую радость невозможно. Существует один такой вот опыт, грузинский.

Еще один опыт, и еще один, представьте, австрийский перекрест, хотя австрийцы отталкивали меня — грузина, отталкивали печальной, немного болезненной миной, которая все время сопроеждала их опыт бытия или незаконной радости.

Понимаете ли вы, что бытие — это то же самое, что и незаконная радость? Нет никаких причин к тому, чтобы мы были, и тем радостнее быть; и тем больше продуктивной гордости можно от этого испытать, и гордость эта, конечно, — аристократическое чувство, только это — не есть аристократизм крови. Существуют таинственные фразы, такие, скажем, как чувство гордой души, тем более гордой, что душа не дана, а пребывает, или производится (это уже на самой заре Возрождения было высказано), формируется частично в полемике с феодальной иерархией дворянства и аристократии. Это итальянские горожане впервые обретают такую гордость, и Данте говорит (обратите внимание, как строятся философские истины!), что потомство, в строгом смысле слова, души не имеет. Он, конечно, подразумевает, что душа не передается с актом рождения и поэтому нет, в этом смысле, наследственной аристократии, а вот гордость души — она пропорциональна тому, насколько случилось второе рождение в уже родившемся физически человеческом существе.

Вот эти души — они и вечны, те, которые родились во втором рождении. Возможно, неудачны вторые рождения; скажем, Фрейд описывает драматическую историю стонущей плоти под невыносимым бременем свободы. В этом смысле, конечно, не существует никакого бессознательного, хотя Фрейд, как представитель позитивной науки XIX века, продолжал мыслить в позитивных понятиях, то есть понятиях каких-то эмпирических данностей, в числе которых бессознательное было такой вот данностью.

Этого, мне кажется, как и многим другим философам, — не существует. Собственно говоря, происхождение наше, как души, — иными словами, во втором рождении — полностью стерто, место происхождения пусто, и единственной памятью о происхождении, или остаточным следом способа и места наше-

го второго рождения является сознание. Поэтому о сознании возможен миф вспоминания, скажем, платоновский миф, и другой миф — противоположный — миф бессознательного у Фрейда, который есть просто указание на раны попытки бытия, раны, оставшиеся на нашем естественном устройстве, на нашем психизме, и действующая память есть память об этих ранах. В этом смысле, конечно, бессознательное — это чаще всего какая-то предельная точка самого сознания, и речь идет не о том, чтобы установить что-то, скажем, теоретическим исследованием найти в глубине души какое-то явление, которое потом будет названо бессознательным. Мы снимаем пласти теоретическими средствами и, наконец, находим наше бессознательное, которое, как какой-то предмет, лежит в недоступных глубинах нашей души, глубинах, поддающихся, тем не менее, анализу.

В действительности опыт психоанализа, как выражается Фрейд, — австрийская чума — был такой теоретической работой, которая является индукцией условий нового сознательного опыта, такой работой, в результате которой в душе пациента (или твоей собственной) мог бы случиться новый и отличный от прежнего сознательный опыт, разрушающий предшествующие сцепления, размывающий их. Но ведь тогда в качестве предмета, о котором должна была бы быть теория, уже ничего не остается — бессмысленно искать такой предмет, потому что в данном случае назначением всей теоретической мыслительной работы было именно создание условий, индуцирующих возникновение нового сознательного опыта. Вот это и было радикальной новизной во всем стиле теоретического мышления XX века.

В XX веке начинают возникать теории особого рода, не имеющие предмета, теории как бы только для одного случая (зато теории, а не эмпирия, не просто описание). Такого рода теоретическую работу вы можете обнаружить и в квантовой механике, где, если случился новый сознательный опыт, то потом не имеет уже смысла сохранять реестр несуществующих к тому же предметов, какие-то иррациональные понятия о которых послужили бы для того, чтобы произвести этот новый сознательный опыт и разрешить какую-то экзистенциальную или бытийную проблему существования.

Это теоретический или интеллектуальный вклад не только психоанализа, но также и тех художественных форм, которые параллельно вырабатывались в литературе и в искусстве, и, казалось бы, ничего общего не имели с психоанализом. И

я эту общность вижу все же не в наличии формально-психоаналитических тем в литературе и искусстве. Нет, я имею в виду какое-то более глубокое стилистическое средство, обычно ускользающее от внимания, и оно состоит в следующем: скажем, роман Музиля — он явно не является текстом в классическом смысле этого слова. Не представляет собой законченного целого не потому, что Музиль якобы не дописал роман; у него было вполне достаточно времени и масса вариантов, из которых видно, что незавершенность его — принципиальная особенность. Такая фрагментарная вариантность — сущностная черта новой романической формы, в которой — что делается? А делается самое важное — посредством какого-то художественного романического построения производится некий опыт в себе, индуцируется опыт понимания, переживания, и, следовательно, сами эти средства романические — сюжет, единство и целостность изложения — не имеют самодовлеющего значения и в этом смысле не являются текстом, а текстом является тот опыт, который индуцированно произведен в художественной форме.

Кстати, музильевский опыт абсолютно эквивалентен или родственен опыту Пруста, с одной стороны, а с другой, как это ни парадоксально, — опыту Пастернака.

Музиль писал один роман всю жизнь и писал потому, что посредством романа производил акты жизни самого себя, как понимающего, чувствующего, видящего существа; он любил посредством романа реальных людей, понимал посредством него реальный мир. Без романа он не понимал бы, и поэтому, повторяю, роман — как запись — не имеет самодовлеющего значения. Наоборот, он может быть фрагментарным, варьироваться. Скажем, у Мандельштама существует несколько вариантов одной и той же поэмы или стихи. Их нельзя отбрашивать в качестве черновика — это самостоятельные вещи.

И вот Пастернак тоже всю жизнь писал один роман. Формально куски его назывались в разное время по-разному, в действительности же это был один роман, то есть одно пространство изображений, в котором Пастернак пытался собрать и воссоздать свою жизнь, как целое, и что-то пережить, узнать — то есть пребыть. Он жизнь свою, как понимающего, этического или мыслящего существа, собирал и организовывал, то есть совершал, или пытался совершить какие-то акты жизни через роман. Вот это и есть его текст, а не тот, который, может быть, переплетен под обложкой издания, теперь уже всем доступного. Иногда мы пожимаем плечами: какой-то неуклюжий,



скособоченный роман, не обладающий классическими стандартными достоинствами прозы Толстого или кого-нибудь еще из русских классиков, — и вот перед вами живая Вена. А сам Пастернак сказал бы, что он — ученик Марбургской философской школы, что непрожеванные куски немецкой философии оставались в нем и действовали в его жизни, но в действительности все это гораздо ближе к австрийской культуре, чем к какой-либо другой.

Австрийская культура — это осознание сомнительности цивилизаторской роли закона, как чего-то окультуривающего, цивилизующего, преобразующего стихии или человеческую органику, или человеческое естество.

## Официальная хроника

26 мая 1991 года состоялись всеобщие демократические многопартийные выборы Президента Республики Грузия.

На пост Президента баллотировалось 6 кандидатов: З. Гамсахурдиа, И. Шенгелая,

Д. Микеладзе, В. Адвадзе, Н. Натадзе, Т. Квачантирадзе.

Подавляющим большинством голосов Президентом Республики Грузия избран лидер блока «Круглый стол — Свободная Грузия» Звиад Гамсахурдиа.

Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Рован АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Анаида БЕСТАВАШВИЛИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА, Марк ЗЛАТКИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь), Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ (заместитель главного редактора), Серги ЧИЛАЯ.

Технический редактор К. Котомина

Корректор Е. Сопромадзе

---

Сдано в набор 30.05.91 г. Подписано к печати 24.07.91 г. Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 1. Печать высокая. Печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0. Тираж 5.000. Заказ 1087. Цена 1 р. 30 к.

---

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

---

При обнаружении полиграфического брака просим обращаться в типографию Издательства «Самшобло», по вопросам подписки и доставки журнала — в «Союзпечать».

---

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Костава, 5.

Телефоны: Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

---

Типография Издательства «Самшобло», Тбилиси, ул. Костава, 14.

1 руб. 30 к.

698/98

ИНДЕКС 76117

საქართველოს  
საბჭოთავო

ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და  
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ყურნალი  
„ლიტერატურა და ხელოვნება“  
(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო  
გამოდის 1957 წლის ივნისიდან

